

Финляндские тетради

Выпуск 6

2005

Институт России и Восточной Европы
Annankatu 44, 00100 Helsinki
Тел.: (09) 2285 4434, факс: (09) 2285 4431
www.rusin.fi

«ФИНЛЯНДСКИЕ ТЕТРАДИ» – неперидическое издание Института России и Восточной Европы. Точка зрения авторов не обязательно совпадает с мнением издателя.

Институт предоставляет возможность опубликовать тексты, связанные с русской культурой и жизнью переселенцев в Финляндии. Материалы в *Финляндские тетради* можно предложить по адресу arja.haikara@rusin.fi. Дополнительная информация: Арья Хайкара, Институт России и Восточной Европы, тел. (09) 2285 4448.

Выпуск 1 (2003) Эдвард Хямяляйнен: Из жизни русских в Финляндии

Выпуск 2 (2004) Некоторые аспекты общей истории Финляндии и России

Выпуск 3 (2004) Составитель Эдвард Хямяляйнен: Хроника культурной и общественной жизни русской диаспоры в Финляндии. 1930-е гг.

Выпуск 4 (2004) Вопросы современной литературы российской провинции

Выпуск 5 (2004) Поволжье и Прикамье конца XIX века глазами финского студента Севери Нюмана

ИВАН САВИН. ПРОЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Сливки общества
В деревне
Комячейка
Сашенька
Дом ребенка

ИЗ «КНИГИ БЫЛЕЙ»

В паутине
В теплушке
Чудо
Четки

ИЗ КНИГИ «ПЛЕН»

Чонгарский мост
Дневник

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Пасхальный жених. Из «Крымского альбома»
Портрет. Генералу Врангелю
Ромашки
Балда. Рассказ «сознательного» пролетария
Лафа
Роман рижанина-декабриста. Историческая быль о живом мертвецe

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Иван Савин (Саволайнен), поэт, прозаик и журналист первой волны русской эмиграции, родился 29 августа 1899 года в Одессе и умер 12 июля 1927 года в Хельсинки. Детство и юность его прошли в уездном городе Зенькове Полтавской губернии, где он закончил гимназию. Продолжить образование ему не пришлось – осенью 1919 года он вступил добровольцем в армию Деникина. Вспоминая то время, Савин позже напишет:

...Отзвучали раскаты орудий на русско-германском фронте. Загрохотала февральская революция, потом октябрьская. В бешеной смене надежд и отчаянья, недолгого хмеля и долгой крови, пронеслись над нашим южным городом десятки властей, армий, правителей и самозванцев <...> Все тогда совершалось с кинематографической быстротой. Как будто нас хотели развлечь сменой впечатлений и властей.¹

Два брата Ивана Савина были расстреляны красными, два других – погибли в боях. Сам он после падения Крыма попал в плен, чудом избежал расстрела: «Бог спас меня. Видимо, вымолила мне жизнь у Господа мать, отдавшая ему четырех сынов».²

Кошмар плена, длившегося почти два года, не оставлял Савина до конца дней его, вызывая периодически острые приступы отчаянья и депрессии. Ему удалось добраться до Петрограда, откуда он, воспользовавшись своим финским происхождением,³ в 1922 году уехал в Финляндию. Здесь Иван Савин начал активно писать и печататься во многих русских эмигрантских газетах и журналах и был известен как талантливый прозаик и журналист. После выхода в 1926 году книги стихов «Ладонка» он признан своим поэтом всей военной белой эмиграцией.

Изданный в Белграде сборник «Ладонка» быстро стал библиографической редкостью. Через почти 20 лет, в 1947 году, стараниями Ростислава Полчанинова⁴ в Менхенгофе (Германия) вышло второе, подпольное издание «Ладонки». Подпольным оно было не только потому, что с ноября 1946-го до 14 июля 1947 года была полностью запрещена издательская деятельность для всех «ди-пи» (перемещенных лиц), но и по той причине, что американцы в то время не разрешили бы печатание антисоветских произведений, подобных стихам Савина.⁵

Третье издание «Ладонки» увидело свет в Нью-Йорке в 1958 году. В него вошли, помимо 34 стихотворений 1-го издания, еще 44 других. Исключительно интересна рецензия Ивана Елагина на этот сборник, напечатанная в 1959 году в «Новом русском слове». Это единственная опубликованная им рецензия за всю его многолетнюю карьеру американского профессора-слависта – случай весьма редкий.⁶

Творчество белого эмигранта Савина было в СССР под запретом. Русская же эмиграция знала его и любила: «О нем много писали, причем не «по долгу службы» и не по знакомству и, конечно же, не корысти ради, а именно ради любви и, если хотите, – писали с нескрываемым чувством боли и восхищения. Писали не просто чувствительные люди, а

¹ Савин И. Правда о Марине Веневцевой // Сегодня. 23.01.1927. № 18; 24.01.1927. № 18а.

² Савин И. Портрет. Генералу Врангелю // Новые русские вести. 17.08.1924. № 198.

³ Савина-Сулимовская Л.В. К читателям // Савин И. Только одна жизнь: 1922–1927. – Нью-Йорк, 1988. – «Дед Ивана Савина, Йохан Саволайнен, финский моряк, встретил в Елисаветграде русскую гречанку, женился на ней, остался жить в России».

⁴ Публицист и общественный деятель Ростислав Владимирович Полчанинов родился 27 января 1919 г. в Новочеркасске в семье полковника Русской армии, служившего в штабе Верховного главнокомандующего при императоре Николае II, а также при Деникине и Врангеле. С 1921 г. жил в Югославии, с 1944 – в Германии, в 1951 г. переехал в США. По образованию юрист.

⁵ Полчанинов Р. Памяти ушедших // «За свободную Россию». Март 2004. № 19 (39).

⁶ Синкевич В. Только одна жизнь // Грани. 1988. № 149.

совсем не сентиментальные по отношению к собратьям по перу писатели и литературоведы – например, И.Бунин и Г.Струве».⁷

О Савине-прозаике снова заговорили после выхода в 1988 году книги «Только одна жизнь: 1922–1927», подготовленной вдовой поэта Людмилой Савиной-Сулимовской⁸ и Ростиславом Полчаниновым. Тираж ее невелик – 500 экз., но книга появилась незадолго до того, как эмигрантские издания стали свободно проникать на родину. Поэтому около половины тиража попало в Россию, и Иван Савин стал, пожалуй, первым поэтом-эмигрантом, вернувшимся в своих книгах на родину.⁹

Рецензируя этот сборник, Вадим Крейд писал: «Переиздание книги автора, попавшего в Джанкое в плен к красным, является истинным и окончательным испытанием на время этого автора. Вот и «Конармию» Бабеля читают теперь не из-за темы, не потому что она о гражданской войне, но из-за художественных достоинств бабелевской прозы. Сравнение с Бабелем было бы точным, если бы не было парадоксальным. Иван Савин писал о той же эпохе, о той же войне и даже стилистически они близки своей лаконичностью и экспрессивностью описаний. Но Савин – на стороне тысячелетней традиции, имеющей живую веру в Бога. Бабель же, комиссар армии Буденного, – прислужник (объективно или субъективно) красного мракобесия».¹⁰

Раздел прозы в книге «Только одна жизнь» содержит автобиографическую повесть «Плен», включающую четыре рассказа-главы («Джанкой», «Глава из книги "Плен"», «Плен», «В немецкой колонии»), рассказы «Правда о 7000 расстрелянных», «Пароль», «Дроль», «Лимонадная будка», «Там», «Трилистник», «Моему внуку», «Новые годы», два рассказа – «В мертвом доме» и «Трое» – с общим подзаголовком «Из "Книги былей"», а также очерки «О мещанстве», «Валаам – Святой остров» и «Валаамские скиты».

Все последующие публикации Савина осуществлялись в основном по книге 1988 года. Ростислав Полчанинов, один из составителей ее, пишет: «Далеко не все произведения Ивана Савина смогли у нас сохраниться. После смерти Савина его отец передал весь архив сына Русскому заграничному архиву в Праге. После конца войны чехословацкое правительство подарило этот архив Советскому Союзу и теперь, кроме нескольких советских специалистов по эмигрантским делам, никто к нему не имеет доступа. [...] В сборник «Только одна жизнь» вошли случайно сохранившиеся повести Ивана Савина».¹¹

В книге «Мой белый витязь...», вышедшей в Москве в 1998 году с предисловием Виктора Леонидова, проза Савина представлена повестью «Плен», а также рассказами «Лимонадная будка» и «Моему внуку». Стихи даны в этом сборнике в наиболее полном объеме.

Многое из прозы Ивана Савина и по сей день остается рассыпанным «по эмигрантским газетам и журналам, как яркие камушки».¹² Публикация в «Финляндских тетрадах» непереиздававшихся текстов – наша попытка собрать эти «камушки» и результат работы в архивах Хельсинки, Москвы и Риги. Представленный здесь цикл рассказов «Дым отечества» – единственный цикл, опубликованный ранее не отдельными главами, как «Плен» и «Книга былей», а полностью в авторской подборке. Четыре произведения раздела «Из "Книги былей"» являются продолжением цикла, два рассказа которого – «Трое» и «В мертвом доме»

⁷ Синкевич В. Указ. соч.

⁸ Люмила Владимировна Сулимовская (урожд. Соловьева, по первому мужу Саволайнен) родилась 28 февраля 1905 г. в Гельсингфорсе в семье полковника 1-го Финляндского стрелкового полка. Окончила гельсингфорскую Александровскую гимназию. Она вспоминала: «Я была не только женой Ивана Савина, я была его другом, секретарем и переводчицей. Я присутствовала при рождении его стихов, знала их полуродившимися».

⁹ Полчанинов Р. Памяти ушедших // Указ. изд.

¹⁰ Крейд В. Иван Савин. Только одна жизнь // Новый журнал. 1988. Кн.171.

¹¹ Полчанинов Р. Предисловие // Савин И. Только одна жизнь: 1922–1927. – Нью-Йорк, 1988.

¹² Савина-Сулимовская Л.В. К читателям // Указ. изд.

– вошли в книгу 1988 года. После издания «Ладонки» Иван Савин предполагал выпустить сборник прозы под названием «Книга былей». ¹³ Разрозненные тексты с подзаголовками «Из "Книги былей"» и «Быль» публиковались им в 1923–25 гг. в русских эмигрантских изданиях Финляндии, Эстонии и Латвии.

Первые, небольшие рассказы «Дневник» и «Чонгарский мост» были напечатаны с подзаголовком «Отрывок из книги «"Плен"» в 1922 году в газете «Русские вести». Они не вошли в последующие издания, вероятно, по той причине, что вдова Савина не располагала их текстами – она готовила книгу в США по истлевшим газетным вырезкам, чудом у нее сохранившимися. Таким образом, повесть «Плен» состоит из шести глав: 1. Джанкой, 2. Глава из книги «Плен», 3. Плен, 4. В немецкой колонии, 5. Чонгарский мост, 6. Дневник.

Многие рукописи Ивана Савина, к сожалению, утеряны. К тому же он не любил черновики – замыслы держал в голове. Из воспоминаний современников известно, что незадолго до смерти Савин начал работать над романом из пушкинской эпохи, «изучая ее, целыми днями сидел в Гельсингфорсской университетской библиотеке». ¹⁴ Нам представляется, что очерк «Роман рижанина-декабриста» следует рассматривать как своеобразный конспект, план замышлявшегося романа. Никаких других текстов, относящихся к этой теме, пока не найдено.

Рассказы «Пасхальный жених», «Портрет», «Ромашки» – небольшая часть произведений, посвященных Белому движению. «Балда» и «Лафа» – своеобразные «речевые» зарисовки не только персонажей, но и самой эпохи.

У прозы Ивана Савина трудная судьба. Если повесть «Плен» – художественный документ о революции и гражданской войне – довольно хорошо известна читателям и исследователям, то тексты Савина о «мирном» периоде жизни советской России (юг страны и Петроград) все еще остаются в забвении. Данная публикация – один из первых шагов к их возвращению из небытия.

Элина Каркконен

¹³ Полчанинов Р. Предисловие // Указ. изд.

¹⁴ Бунин И. Памяти Ивана Савина // Последние новости. 14.04.1932. № 4131.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Хорошо было раньше, лет эдак с десяток тому назад: сидишь где-нибудь на пограничной станции (или даже в соседней губернии), пишешь друзьям красивые открытки и, болтая с бочкообразным буфетчиком о делах внутренних и внешних, досыта надышешься российскими сплетнями и слухами – сладким и приятным дымом отечества...

А каково теперь? Поняв, что – бежать... но куда же? – на время не стоит труда, а вечно бежать невозможно... – сделал привал на первой попавшейся станции и, вздыхая, оглядываюсь назад. Ни красивых открыток, ни бочкообразного буфетчика, ни отечества. Дела внутренние и внешние ограничены, правда, серьезными, но не общегосударственными вопросами: почему меня в детстве не отдали в сапожники – зашибал бы я теперь свежую копейку... двадцатого за квартиру... дров нет. А друзья... одних уж нет, а те – далече... Жизнь, словом, не так чтобы очень уж плохая, но, собственно говоря, черт бы ее побрал совсем! Жестянка, а не жизнь.

И все же, танцуя под чью-то мерзостную дудку собачий вальс бездомия, иногда отходишь в сторону и в углу, чтоб никто не видел, как четки перебираешь свои такие свежие воспоминания о том, что брошено. Ибо престранная машина человек: тяжким молотом разбейте в нем самые хрупкие части и все нити перережьте острым серпом, а он, с перебоями и хрипом, по инерции, гудит старым, привычным темпом, скрипя расшатанными винтами...

Это очерки советского быта, прокопченные дымом горящего отечества, были написаны минувшей осенью у окна, где почти никогда не просыпаясь, тихонько похрапывал добрый и грязный кот Чушка.

Гельсингфорс, 1923.

Сливки общества

– Он еще спрашивает – за что! Сказано – за подозрительную физиономию.

– Но позвольте...

– Я знаю, что делаю. Товарищ, уведите его.

Товарищ – нечто вроде смотрителя, полный и безучастный – привычным жестом распахнул гостеприимные двери Угрозыска Ник.железной дороги (Лиговка, 10) и крикнул:

– Третья камера, принимай!

Приняли меня радушно. В законопаченной – более подходящего слова не выдумаешь – вонюю комнате зашевелились столы (на них спали); на печке, почти под потолком (там уже проснулись) кто-то лихо заиграл на гребешке, несколько хриплых голосов оглушили приветствиями:

– Послушайте, вы не туда попали!

– Дунька, ставь самовар, принимай гостя!

– Какая тут сволочь по ногам топчется?

– Пойди сюда, папаша!

Я вежливо, но решительно отверг предложение безносой девицы, отцом которой я неожиданно оказался, и присел на край нар, устланных грязной ветошью. На ветоши было в поэтическом беспорядке разбросано бесчисленное количество голов, ног и рук, и между ними – молодой человек в щегольском пальто. Молодой человек гадал: отодвигая в противоположные стороны руки с вытянутыми указательными пальцами, сдвигал их снова, стараясь, закрыв глаза, попасть пальцем в палец.

Я кашлянул.

– Гадаете? Скучно, небось?

– Нет, с голоду. Насчет жратвы тут совсем даже паршиво. Шрапнель, и та вонючая.

– А вы за что здесь?

– Политический.

С другого конца нар поднялась лысая голова.

– Что арапа запускаешь? Нечто это политика, коли человек по карманам лазаит?

«Политический» открыл правый глаз.

– Ай ты, лысый барабан. Дрыхни там себе и вшов считай... А вы из себя кто будете? – обратился он ко мне.

– Я? Как вам сказать... быв... – чья-то рука, быстро скользнув по лицу, вырвала у меня из рта папиросу, – бывший студент; теперь, как и многие, – пролетающий...

Левый глаз моего нового друга открылся изумленно.

– И вы с таким талантом здесь пропадаете?

Камера грохнула от смеха всяких тонов и оттенков, до ослиных криков включительно.

– У вас тут весело, – вздохнул я – кто это ослу подражает?

Тот, кому я наступил на ноги, промычал:

– Ему и подражать нечего. Потому – осел всамделишный.

– А ты – домушник, по квартирам смертоубийством промыляешь! – крикнул «осел» и выругался сочно, с большим наслаждением. – В Лесном семерых придавил? На Миллионной – пять? А на островах чикал головки топором да и засыпался? Вот стерва... Разговаривает еще. Пропишут тебе еще ленинских пилюль, подожди еще малость!

– Мне показалось интересным это новое лекарство.

– Что еще за «ленинские» пилюли?

Парень в щегольском пальто плюнул в затканый паутиной угол. Слюна, прорвав паутину, повисла на гвозде, где когда-то висела икона.

– Пилюльки-то? Оченно обыкновенные – свинцовые.

Сзади кто-то осторожно тронул меня за плечо; я повернул голову и увидел старика в больших дымчатых очках, с лицом ласковым и сконфуженным.

– Что вам?

– Скажите, вы знаете французский язык?

– Предположим.

– Как будет по-французски: дайте мне, пожалуйста, папиросу.

Я не мог не улыбнуться такой просьбе, а «дочь» моя – безногая девица – посоветовала по родственному:

– Дай ему, папаша, в морду по-русски!

– Нет, отчего же... – и я начал было уже развязывать свой кулек с провизией и табаком, как вдруг на меня наскочили, воистину с быстротой молнии, несколько оборванцев, сшибли с ног, вырвали кулек и так же быстро расстали в общей массе.

– Ловкие ребята! – только и сказал я, потирая сильно ушибленное колено.

Старик помог мне встать.

– Не сердитесь на них слишком, молодой человек. Понять их надо – ведь нас здесь почти не кормят. Ну, у кого здесь родные живут – туда-сюда еще передачи носят, да и то половина добрая к чьим-то рукам прилипает. А у кого никого нет, что таким делать? Вот они и обрабатывают таким манером каждого новичка. Как звери... Вчера я видел такую, например, картину: сел на пол мальчишка и давай с грязного пола крошки слизывать. На языке у него больше песку и плевков, чем крошек, а – ничего, жует, свинья голодная... Фу-ты, Господи! Надоели мне эти экзамены – каждый день одно и то же.

У окна, заколоченного деревянной решеткой (с четвертого этажа все равно не прыгнешь!) стоял красноармеец в засаленной буденновке и кричал:

– Переведите, товарищ, – РСФСР.

На что сидевший на печке отвечал нараспев:

– Приблизительный перевод: Ребята, смотри, – Федька сопли распустил... Более точный: Редкий случай феноменального сумасшествия расы...

– Правильно. А что такое советская власть?

– Советская власть – лучший повар.

– Пять. А кто ее маменька?

– Октябрьская проститутка.

Безногая девица захихикала.

– И выдумают, ей-Богу! С такими мужчинами сидючи, со стыда треснешь.

– Однако, знаете, очень откровенно... экзамен этот, – сказал я.

– Им рисковать нечем – люди стеночные. Красноармеец в каком-то бунте замешан, а тот, – старик показал на печку, – заметьте, бывший паж, устроил лимонный завод и довольно продолжительное время конкурировал с экспедицией заготовления государственных бумаг. Человек, конечно, с душой вывихнутой, но интересный, шутит все время... Эх, отпустили бы скорей, что ли!

– А вы в чем обвиняетесь?

Старик раздраженно махнул рукой.

– В том-то и дело, что ни в чем не обвиняюсь.

– Как это?

– А очень просто. В доме, где я живу, во втором этаже – моя квартира в подвале – обокрали какого-то нэпмана, на Невском ювелирный магазин. Обокрали, ну и шут с ним: не мое. Но так как вор, уходя из квартиры с бриллиантами в кармане, встретился со мной на лестнице – это было днем – и я имел несчастье запомнить его физиономию, то и торчу здесь вот уже второй месяц в качестве свидетеля. Каждый день показывают мне разных бродяг и спрашивают: он?... Даю вам слово, что скоро не выдержу уже и на первого попавшегося скажу: он! Безобразие.

– Н-д-да... – согласился я.

– И таких «преступников» здесь много. Мальчишка тот самый, что крошки лизал – видел, как какие-то молодцы угнали автомобиль со двора гостиницы «Спартак». Чем не свидетель, спрашивается? А вот... видите, на четвертой от окна наре сидит девочка? В зеленом плюшевом пальто? Недели две тому назад налетчики убили ломом ее мать.

– Тоже свидетельница?!

– Конечно!

Услышала ли девочка, что мы говорим о ней, или показалось ей скучным смотреть в одну точку, – она повернула к нам темно-каштановую голову и заплакала.

Бывший паж застучал ногами в лаковых ботинках по печи и сказал нараспев (почему-то вспомнился мне Игорь Северянин, таким же декадентски-ноющим голосом читавший свои поэмы):

– Стоит ли плакать? Глупистика одна. Все равно – все там будем! И потом... Такие сливки светского, то есть советского общества, и вдруг – на тебе, заплакала. Плюнь! – и запел дрожащим фальцетом, аккомпанируя самому себе на гребешке:

На днях я съел свой граммофон,
Вчера доел я пианино.
Сегодня слопал телефон
И даже швейную машину...

В деревне

Вера Осиповна – учительница и, конечно, голодает хронически. Нос тонкий-претонкий, скулы далеко выдвинуты вперед, лицо как печеное яблоко – все в мелких морщинах. А одета она так комично и жалко: юбка из мешка, на голове платок с давно вылинявшими цветами – баба Палашка подарила на бедность, – ноги в галошах. Вот и все. Да, на плечах, вместо теплой шали, покоится нечто среднее между ковром и гардиной: пыльно-желтое, с пушистыми китицами, слегка тронутое молью. Смешно и жалко.

Молчим. Говорить не хочется, да и не о чем, собственно. Тихо. За окнами – мокрый снег, слепое зимнее солнце. Я барабаню по подоконнику озябшими пальцами, в десятый раз обвожу глазами стены класса. Истрепанная карта Европейской России. Доска с надписью кривым детским почерком: «В школу приносить мышов строго возприцаица». Над доской – Ленин, Троцкий, Калинин. Висела еще здесь, во втором отделении, и Роза Люксембург, но сторожиха, юркая старушка, удивительно красочно рассказывающая как «помищики та енералы убили царя мужичьяго – Олександр у хторого», бросила Розу в печь: «хиба (разве) вона Богородица или царыця: що в классе находиться?..»

Тихо. Вера Осиповна кутается в ковер (нет, это все-таки гардина, кажется) и греет руки у самовара.

– Чаю хотите? Но предупреждаю: чай у меня советский – с солью.

Откровенно говоря, после такого чая мне все завоевания революции кажутся пустяками, но отказываться неудобно – обидится.

– Стакашку опрокину, Вера Осиповна. Только вы соли поменьше. Я не лакомка.

Хозяйка тонкими ломтиками режет хлеб. Вздыхает.

– Я говорила уже вам, что в прошлое воскресенье сход постановил закрыть школу?

– Нет. С чего это им вздумалось? Или поветрие теперь такое – долой грамотность?

– Не разберешь. Одни говорят, что хлеб реквизируют и без школы научиться можно; другие недовольны, что преподавание по-украински. Палашка, та самая, что вот платок мне дала, спрашивала на днях: и чога вы дитэй наших по-мужыцки учыте? По-мужыцки воны и так научатся, а вы их по-паньски, по-русскому навчыте! Очень многие против отмены Закона Божьего. А больше всего, вероятно, просто не хотят содержать на свой счет школ... Да и не могут, пожалуй, – большой недород.

Я храбро глотаю микстуру, чаем именуемую, и качаю головой.

– Плохо вам из Бердичева пишут, Вера Осиповна. Что же вы намерены делать?

Смеется.

– А что я делала до сих пор? Пойду по избам, как странница переходящая. Буду стирать, стирать, шить, за ребятами присматривать – привыкла уже. Дадут тарелку борщу и кусок хлеба – и на этом спасибо. Больно, конечно. Всю жизнь, так сказать, сеяла разумное, доброе, вечное, а пожну милостыню. Но что ж... Как говорит наш дьяк: голодуха, зато «слабода»...

Вера Осиповна вытирает глаза концом гардины (как будто такой ковер я видел у соседней помещицы в столовой).

– Или поеду в город. Буду служить.

– Ну, это вы что-то совсем неладное задумали. В городах теперь такой дух, что хоть с моста да в воду. Небывалый разлив мерзавцев. А служба... Смешно... Вот взять хотя бы меня, например. Вы думаете, я служу? Ничего подобного. Занимаюсь мелкими кражами. Ташу из архива книги, вырываю исписанные листы, а чистые вымениваю на базаре на хлеб. Это, так сказать, у меня занятие постоянное. А бывают экстренные случаи: в хозяйственном подотделе лежит мука без охраны... На Павловского выписано мясо, а он в отпуску... Так и живем. Противно, но живым в могилу не полезешь, к сожалению. Разве что закопают, как в Симферополе.

В стакане Веры Осиповны плавает большая зеленая муха. Странно – зима и вдруг мухи...

– В деревне тоже не сладко. Пройдитесь-ка по дворам, – всюду такое недоверие и голодная злоба. По ночам прячут хлеб и от продналогщиков, и от своих. У зажиточных – мягкая мебель, зеркала до потолка и самогон в каждом углу. У бедных, а таких огромное большинство, невылазная грязь, нечего есть, а самогону – хоть залейся. Пьет млад и стар. И ругаются. Если бы вы знали, как они ругаются! Я учительствую двадцать три года, знаю крестьянскую жизнь как свои пять пальцев, но никогда раньше такого сквернословия не слышала. Чего тут только нет: и поминание близких до родной дочери включительно, и Бог, и небесная канцелярия, и еще «на семь верст выше». И наряду с таким кошунством – церковь всегда полна.

Я встаю и начинаю одеваться – до города не близко а уже темнеет.

– Да, вот еще интересный штрих, – продолжает Вера Осиповна, допивая чай (и муху) – крестьяне еще с грехом пополам пашут помещичьи земли, но строятся на них, несмотря на выгодные условия, отказываются. Одному – Степану Ольшенку – и лес уземотдел давал, и налогов обещал не взыскивать, только стройся... а Степан так прямо и сказал председателю: «Спасыби вашему батькови! Я выстрою хату, а барин вернется, тай даст мини по шеям!»

– С башкой мужик, – говорю я. – А насчет банд как у вас? Пошаливают?

– Такого добра сколько угодно, господам коммунистам житья нет. Недавно появилась новая – «сыны обиженных отцов». Разъезжают по ночам в тачанках: специальность – охота за продналоговцами, тройками и пятерками. Поймают какого-нибудь хлебного агента... жестокость какая... вспорят живот и в окровавленных внутренностях оставляют записочку: «продналог выполнил». Махновцы тоже нет-нет да появятся. Недели три тому назад ночевали в школе, говорили, что Махно идет не то из Румынии, не то из Польши с большой армией. Не знаю, правда ли...

– Ложь. Плуты они, махновцы эти. А Махна я собственноручно повесил бы на первой осине – его «братушки» впереди всех ворвались в Перекоп. Заметьте, за месяц до того мой полк рядом с махновской сотней шел на красных. Авантюрист, больше ничего.

– Разбросали по селу своего рода прокламации. Показать? У меня – на русском языке, были и на украинском.

Вера Осиповна долго роется в тюфяке (там же у нее спрятаны на случай обыска: дешевое колечко с бирюзой, какая-то медаль на муаровой ленте, письма) и дает мне две бумажки синего цвета. На первой крупными печатными буквами от руки написано: «Встань, крестьянин и рабочий, коммунистов бить охочий», на второй: «Пятью пять – двадцать пять, Махно с Врангелем опять».

Выхожу на крыльцо. На ступеньках – мокрая вата снега. Дует легкий, сырой ветер. Сторожиха, в огромных валенках и тулупе, стоит у ворот и есть семечки, артистически расплевывая шелуху полукругом.

– Бабушка, а кто Императора Николая Александровича убил?

Старуха смотрит на меня пристально. Потом крестится мелким, бабьим крестом.

– Хиба сам не знаешь? Мыныстер Родзянко. И поднялась рука на царя, прости Господи!

Вера Осиповна улыбается, набрасывая на голову ковер (только теперь я убеждаюсь, что это самая настоящая гардина). Лицо ее становится совсем жалким и старым, когда, прощаясь, она говорит:

– Так вы, пожалуйста, если будет на примете служба какая, – сообщите. Не могу я уже здесь больше. Не могу да и только! Пожалуйста.

– И вы, значит, мелкими кражами?

– Все равно, хоть и крупными. Один мой знакомый, доморощенный философ, говорит, что при советской власти быть честным – нечестно и бессовестно. И потом... Мне иногда

приходится так туго, что будь я помоложе, не только мелкими кражами пошла бы промышлять, но и собой. Времячко! До свидания...

Сторожиха дает мне на дорогу семечек, и я быстро иду в М.

Комячейка

В М-льском уездном военном комиссариате, где я в прошлом году до беспамьятства щелкал на пишушей машине за ржавую селедку и фунт сырого хлеба в день (как мы дрожали над каждой крошкой, Боже мой!), комячейку составляли: товарищ Марин (Зильберман), товарищ Сидоркин и товарищ Мария Егоровна. В нормальное время все трое, даже сложенные вместе, яйца выеденного не стоили бы. Давая Сидоркину четвертак на чай или заказывая Марье Егоровне белье, вы бы не запомнили их лиц, плоских и уродливых. Но в ненормальное время переоценок всех ценностей и выеденных яиц, они так высоко прыгнули вверх и так отразили на себе все типичное для советской знати, коммунистов тож, что было бы непростительно умолчать об этой бравой тройке. Товарищ Марин был демагог чистейшей воды, явный нахал и скрытый дурак, и эти особенности характера переплелись в нем весьма замысловато. Сын местного купца, он в мирное время занимался тем, что ходил по городу в фуражке студента-технолога и недурно играл в футбол. В германскую войну технологическую фуражку заменило кепи английского образца со значком санитара. В свободные от дела милосердия часы он работал на оборону – спекулировал сахаром; после брест-литовского скандала скрылся с горизонта, года два варился в соку пролетарской революции и вернулся таким идейным большевиком, что, по словам старика Зильбермана, «от него за три версты пахло мошенником». Появившись в М., товарищ Марин окопался в военном комиссариате, освобождавшем от службы в красной армии, и вскоре был «избран» на пост председателя комячейки. Говорить он мог, по крайней мере, 27 часов в сутки. Ораторствуя, нанизывал абсурд на тупость, демагогию на хвастовство, ежеминутно уснащая свою речь передержками и потугами на остроумие из репертуара товарища Зиновьева. Эта граммофонная неутомимость и высшая школа дрессировки по неправильно понятому Марксу и дали одному из моих бывших сослуживцев право сказать, что «товарищ Марин говорит, как Соломон, только не так умно».

При взгляде на товарища Сидоркина, теория появления его на свет Божий представлялась мне в таком виде: лежала в Вятке (он был вятский рабочий) грудка человеческого мяса, и вот на нее навалили нежданно-негаданно товарища Маркина, сильно прихлопнув сверху, – и все добродетели этого последнего отпечатались в мыслях, сердце и душе Сидоркина обратной стороной, образовав такую сумбурную кашу понятий и представлений, что подчас на него было просто больно смотреть. Он не был демагогом, не пытался ставить здравый рассудок вверх ногами, но называть белое красным или наоборот и уверять в этом других – у него хватало и упорства, и наивной веры. Не был он и особенным нахалом и, кажется, не был дураком, но от природы некрепкая да еще вконец размитингованная голова при каждом соприкосновении с живой жизнью и ее непредусмотренными коммунистической программой явлениями, будь то социал-предательство рабочих или Нэп, – недоумевающе трескалась, и изливался из нее такой поток ребяческого бахвальства и виртуозной глупости, что хоть святых выноси.

Товарищ Марья Егоровна была старой девой. (Характерно, что почти все русские коммунистки – по крайней мере мне лично не приходилось сталкиваться с исключением из этого правила, – или старые девы или бывшие аптекарские ученицы, или и то и другое вместе.) Невысокого роста, довольно полная, с физиономией столь уродливой, что, кажется, поднеси к ней стакан молока – молоко скиснет, Мария Егоровна была яркой последовательницей и апологетом тогда прошумевшего на всю Россию проекта саратовского женотдела, по которому женщинам предоставляется безапелляционное право избирать себе

мужей, и, в первую очередь, старым девам, и искренне возмущалась, когда ВЦИК отверг проект, как «провоцирующий женское равноправие».

Деятельность комячейки разделялась на две части – идеологическую и практическую. В чем выражалась сторона практическая, будет сказано ниже, а вот – сторона идеологическая (у нас она называлась проще – идиотическая).

Без четверти пять. Дописываю копию седьмого за сегодняшний день весьма спешного приказа Склянского – приказы зампредвоенсовета Склянского, как известно, пишутся столь же часто и с таким же успехом, как и ноты наркоминдела Чичерина. Через четверть часа закрою Ремингтон и – айда. Усядусь с ногами на кровати и буду думать. О чем? Ах, так много дум у ненадежных элементов! А потом, когда поползут по небу светляки – звезды, когда чье-то сердце шелками заменит мои лохмотья – буду смотреть в глаза нежно-суровые и трепетные и...

И вдруг – в дверях товарищ Марья Егоровна.

– Товарищи, в пять собрание общей канцелярии. Прошу не опаздывать.

Гневно набрасываю на машину чехол и иду вниз. Поскорей бы одеться и удрать пока не поздно. Увы! – внизу толпу таких же, как я, беглецов сдерживает дежурный красноармеец.

– Назад, назад, товарищи! Никого не велено пускать. Тебе говорят или нет? Куда лезешь?! Делопроизводитель, Талаков, с гримасой держится за щеку.

– Зубы... ей-богу... к доктору только пойду, через десять минут вернусь...

– Принесите записку от товарища Марина. Мне что? Что приказано – исполняй.

Ругаясь, плетемся в общую канцелярию. Там темно и пусто. Сидоркин стоит у окна и, нелепо шевеля толстыми губами, заучивает что-то наизусть. Марья Егоровна злится.

– Разве вас приучишь к дисциплине? Марченко, позовите всех. Шестой час уже.

Марченко уходит и не возвращается. Дежурный живет с ним в одной квартире и, вероятно, отпустил его с миром. Ждем пять, десять, двадцать минут. Никого.

Марья Егоровна пулей срывается с места и с криками обегает отделы комиссариата. К шести общая канцелярия наполняется служащими. Садятся на столах, на подоконниках – стульев мало. Каждый расписывается на особом листе, стремясь расписаться и за когонибудь отсутствующего. Двадцати трех из шестидесяти – нет. Завтра их фамилии будут красоваться на черной доске. Какое горе, подумаешь!

Марин открывает собрание речью на тему «дважды два – пять». Так как можно безошибочно предсказать, что товарищ председатель, трагически вращая глазами, и голосом патетическим, как у первого любовника базарной труппы, будет склонять по всем падежам и числам слова: «буржуй, выходец из черносотенной среды, провокационный элемент, интернационал, мы, вы» (у него выходит ми, ви) и раз десять повторит отстроту Стеклова «мы выплюнули Врангеля за границу», – я не слушаю его. За уютной спиной сторожа Григория читаю Аркадия Аверченко «Двенадцать ножей в спину революции». Мальчишка рассыльный, прислонившись к шкафу, сладко спит. Слева говорят о какой-то Олечке – «понимаешь, подняла руку и прямо в рожу, в рожу». Справа регистратор Фролов демонстрирует соседу свои мускулы. Сзади, за спинами Григория, Фролова и моей, заведующий учетно-конским подотделом Лесников и казначей Гужева едят пшеницу, растирая ее чернильницей. Словом внимание полное, общее, равное и тайное.

Сколько времени говорит товарищ Марин и какими перлами подарил он недостойную аудиторию – я не знаю, не слушал. Когда раздаются аплодисменты, рассыльный вскакивает, как угорелый, – стучу «двенадцатью ножами» по столу и в восхищении кричу «браво».

Оратор, самодовольно улыбаясь, опускается в кресло. Смотрю на него долго и пожимаю плечами. Мне удивительно не то, что на его жилете болтается ценный брелок, принадлежащий, как известно всему городу, бывшему помещику Рогову, не то, что в прошлом году его публично уличили в подлоге и взятках, а он по-прежнему играет на первой

скрипке местного коммунистического бомонда. Нет, все это в порядке вещей, все это называется «идейностью». Но мне трудно понять, как можно с помойной ямой в душе и непечатным словом вместо совести не только играть роль борца и пророка, но и, вопреки логике, обязательной даже для негодяев, понемножку начать верить, что я, мол, – действительно борец и пророк?

Или для перешедших Рубикон чести и прочих буржуазных предрассудков – даже законы логики не писаны?

К председательскому столу подходит товарищ Сидоркин и неуклюже кланяется.

– Товарищи! Советская власть это, значит, совет, сообща то исть. Значит, по каждому принципиальному вопросу – общее собрание, потому что глас народа – глас Божий... нет. Товарищи, авангард мировой революции через головы капиталистов и эксплуататоров шлет братский привет рабочему классу. Мы клялись поддерживать советскую власть, а не поддерживаем и утикаем от текущих вопросов. Отчего? А оттого, что безнадежные элементы разводят провакацию. Это кулаки, значит и вообще... этого... Возьмем для примеру Нэп. Что такое, с идейного обсуждения, Нэп? А такое: торгуй, но ежели насчет политики, так мы тебя так коленным под брюхо вжарим, что аж закричишь, собачий ты сын. Товарищи, я призываю к правильному понятию текущих вопросов и чтобы не поддаться на пушку...

Этого я слушаю. Этого мы все слушаем с удовольствием неподдельным – в кой раз послушаешь такую белиберду? Иногда, в часы занятий, мы даже просим его: товарищ Сидоркин, скажите что-нибудь революционное! – и Сидоркин, не чуя насмешки, до седьмого поту говорит об авангардах, о «приспиктивах», о том, как «гидр контрреволюции поднял голову над самостоятельностью классовых противоречив...»

– Товарищи, – заканчивает Сидоркин свой «доклад» (в повестке дня значится – Новая экономическая политика, доклад тов. Сидоркина), – я обращаюсь ко всем вам с упоминанием: отстаивайте антиресы чистого коммунизма. Ленин сказал, что надолго и всурьез, только это понимать надо. Скажем: отступление это или тактический оборот дела? Ничего подобного. Командные высоты в мозолистых руках наших вождей и мы должны научиться торговать. А научившись, мы им всем покажем кузькину мать. Я предлагаю послать нашему дорогому Ильичу телеграмму: «Мы, служащие и красноармейцы М-льского уездвоенкомата, шлем испытанному руководителю русского и всемирного пролетариата товарищеский привет и благодарность за доблестную работу. Да здравствует Ильич! Да здравствует III интернационал!». Кто за – прошу поднять руку. Что, непонятно? Голосую еще раз: кто за посылку такой телеграммы, поднимите руку.

Почему поднимают руки Фролов, Таланов, Гужевова, все – не знаю. Я «за» такую телеграмму потому, что мне надоело сидеть в чека и особых отделах, потому что мне крайне дороги мой фунт хлеба и селедка, потому что, предполагая в ближайшем будущем «драпать» в Питер, а оттуда в буржуйскую Европу, разыгрываю верноподданого.

Марин подсчитывает поднятые руки.

– Единогласно.

Последней выступает Марья Егоровна. Долго и нудно, с кокетничающими прищепываниями и игрой выцветших глаз, говорит она о последнем завоевании революции в области женского движения – о съезде женщин Востока. Среди нас нет ни одного восточного человека и, главное, ни одной женщины, если не считать таковой уборщицу Федосью, которой несколько аршин ситцу на платье внучке важнее, чем восточное, западное, северное и южное равноправие. И тем не менее, Марья Егоровна читает по тетрадке свой нелепый доклад с таким же азартом и самовлюбленностью, с каким она читала его вчера в женской трудовой школе 2-й ступени, а третьего дня – в профессиональном союзе ломовых извозчиков.

Без четверти восемь, под громкое пение «Интернационала» и тихие ругательства собрание, наконец, закрывается...

Такова работа идеологическая. Практическая была куда проще и забавнее. Известно, что и по старому, и по новому стилю в неделе одна пятница. У людей непостоянных в неделе семь пятниц, у коммунистов же суббот и того больше. По крайней мере субботники у нас, как и повсюду в РСФСР, бывали не только каждый день, но иногда и два раза в день. Обыкновенно после занятий или часов в пять-шесть утра нас сгоняли на улицу. Выстраивали так называемым сознательным строем, т.е. беспорядочной толпой, и мы с красными флагами впереди и конце шествия шли в «наш» сад (бывшая усадьба немца-колониста Ш.), на огород, на железнодорожную станцию – ломать никому теперь ненужный подгауз на дрова для паровоза. Когда же абрикосы в саду осыпались на землю или в карман не сеющих, не жнующих, но собирающих в житницы, картофель оказывался давно сгнившим (однажды мы даже копали, поливали и пололи пустую землю – картофель совершенно не взошел!), а пакгауз – сломанным обывателями, – мы чистили дворы, убирали снег, проходили военное обучение и ругались. Вся эта весьма продуктивная работа проходила гладко и весело: надо отдать справедливость руководству комячейки, – мы, рядовые члены трудовой семьи, только рыли грядки, кидали снег, срывали стропила и балки, а самые тяжелые, утомительные обязанности несли они, Марин, Сидоркин и Марья Егоровна: распределяли работу, сосали сахар с лимоном – советская карамель, в перерывах запевали: «Смело, товарищи в ногу!» (у Марина был голос, как перо у Демьяна Бедного, – фальшивый и вечно переваливающий на высоких нотах), записывали фамилии саботажников и изволили мило шутить: «А ну-ка, товарищи, докажем, что мы сумеем работать не только на словах, но и на деле!».

«Сумели» ли мы доказать или нет, но ни тогда, ни теперь мне не приходилось жалеть о безрезультатно проведенных субботниках, за свой труд я получал мзду и довольно, по тому времени, порядочную, – полную фуражку перезрелых абрикосов и квитанцию на картофель...

Ничто не вечно под луной, и даже такое капитальное сооружение, как комячейка М-льского уездного военного комиссариата приказала долго жить при весьма, впрочем, печальных обстоятельствах.

Товарищу Марину надоело зря болтать языком, из-под полы торговать сахаром и комиссариатским овсом. В конце прошлого года он женился на подруге дней своих суровых, дочери художественно обрабатывающего государство нэпмана, обвенчавшись с ней в синагоге. Так как по Марксу, пересаженному на русскую почву, даже венчаться в синагоге – преступление, Марина исключили из партии за мелко (!) – буржуазность.

– Хочу быть свободным от всяких, даже партийных, предрассудков! – гордо заявил он нам на прощании очень трогательном – выпили три ведра греческой водки – и уехал с женой в «нашу милую старую Москву».

За месяц до того М-ль осчастливили своим посещением Раковский и Фрунзе. После банкета за счет местных буржуев в доме Х. по Воронцовской улице с тонкими винами и коньяком лучших марок (только шампанское, вместо Клико или Редерер, пили русское – Абрау-Дюрсо, это в те дни, когда по всей губернии свирепствовал голод!) состоялся на Торговой площади митинг, между прочими, выступил и товарищ Сидоркин. Что он, собственно, хотел сказать, как всегда, понять было трудно, но как резюме сказанного им, в головах слушателя оставалась только одна, крайне характерная для коммунистов подобного типа фраза: «Которые бессознательные, так те голодают, а которые сознательные – наоборот». После митинга Раковский с аристократической брезгливостью спросил председателя исполкома Веленького: «Что это за дубина выступала от военного комиссариата?», и Сидоркина убрали в уезд, на пост председателя волостного военного отдела, где он болтается, вероятно, и по сию пору.

Дальше всех знамя комячейки держала Марья Егоровна, но уж видно судьбе было угодно лишить комиссариат последнего утешения. Когда я уже был «в бегах» и против моей фамилии значилась краткая, но выразительная отметка «дезертир» (до того была другая – «бывший врангелевец»), Марья Егоровна влюбилась в какого-то проезжего циркового артиста и пошла к нему на квартиру осуществлять проект саратовского женотдела. Злые языки уверяли, что артист с бранью выгнал ее, а жена артиста послала ей вдогонку бутылку с керосином. Как бы там ни было, но день спустя Марья Егоровна отравилась цианистым кали.

Даже умирая, этот безусловно ненормальный человек оставался верен себе: уже в агонии товарищ Марья Егоровна нацарапала на протоколе съезда женщин Востока:

«В смерти моей прошу никого не винить. Да здравствует идеал абсолютно свободной женщины!»

Сашенька

Племянница моей квартирной хозяйки представила мне его не без гордости:

– Особоуполномоченный всеукраинского ревтрибунала Алексей Алексеевич Бобринский, бывший граф.

Я невнятно прожевал свою фамилию, сказав обычное: очень рад. Хорош, нечего сказать! Папашу, может быть, сварили в котле с кипящим сахаром – были такие случаи, – а сынок по ревтрибуналам путается...

А через пять минут особоуполномоченный и бывший граф оказался Сашенькой О., вольноопределяющимся ...-ой зенитной батареи крымского периода Добровольческой Армии.

– Но почему же – бывший граф? Ведь это так контрреволюционно...

– Видишь ли, – сказал Сашенька (принадлежал он к тому сорту людей, с которыми уже после минутного знакомства становишься друзьями и на «ты»), – коммунары страшно любят, когда у них служат представители громких фамилий, а если такой титулованный тип – партийный, для него нет ничего невозможного. Вот я в особо важных случаях и напяливаю на себя графскую или княжескую корону. Для пользы дела, так сказать.

– А какой «особо-важный» случай у тебя в настоящее время? – любопытствовал я.

– Еду в Одессу на ревизию карательных учреждений. Вот мои удостоверения личности, мандат, партийный билет. Без скромности могу сказать, что работа художественная.

Действительно, все было прекрасно – бумага с водными знаками, штампы, подписи, фотографическая карточка с сургучной печатью комиссариата юстиции, даже следы грязных пальцев на краях билета – примета истинного коммуниста. Болтая о прошлом и теперешнем, до сумерек просидели мы с Сашенькой под сморщенной грушей, и я узнал несложную, но такую маловероятную биографию его последних лет. Пожалуй, я бы не поверил ей, счел бы ее забавной выдумкой, если бы несколькими днями позже мне не пришлось быть свидетелем рискованных проделок этого находчивого и неглупого Хлестакова, этого милого Рокамболи советской марки.

Попав в Симферополе в плен, Сашенька, благодаря, вероятно, своей удивительно добродушной физиономии, как-то выкарабкался из «овечки» (отдел ве-че-ка) и поступил на красный бронепоезд «За власть советов», с которого и сбежал по приезде в Харьков, предусмотрительно захватив с собой целую кипу незаполненных бланков, скрепленных, однако, подписями и печатью бронепоезда. В Харькове Сашенька сунулся было в университет, но быстро ожегся: там знали о его службе в белой армии; из дому писали: не вздумай так рано приезжать сюда, тебе надо еще лечиться, а климат у нас суровый, как никогда. Надо было некоторое время провисеть в пространстве, и Сашенька, недолго думая, поехал в Екатеринослав на съезд коммунистической молодежи, а также закупить, кстати,

вагон пшеницы для питательного пункта станции Люботиц, на что у него имелось предложение за подписью самого Раковского.

– Позволь, – прервал я его, – а деньги?

– Какие деньги?

– Ну, за пшеницу... это, значит, миллионы нужны. Где же ты их взял?

Сашенька удивленно поднял брови.

– Деньги? Вот новости еще! А для чего тогда комиссариат финансов существует? У меня ведь эти... боны или купоны... черт их знает, как они там... Закупил что-нибудь и даю такую бумажку: деньги, говорю, получите в любом казначействе или отделении государственного банка. Всех благ! Ну, и тут надо скорее на вокзал и давать стрекоча, потому что хотя боны эти самые и настоящие – знакомая одна целую книжку сперла – но подпись на них – моя, а печать – комиссариата здравоохранения, только слово «здравоохранение» затерто. Очень просто.

Чуть ли ни в каждом городе были у Сашеньки родные, друзья, хорошие знакомые, снабжавшие его в изобилии бланками, образцами подписей, печатями различных ведомств и войсковых частей. Здесь же, в Екатеринославе, продав пшеницу за полцены (не был он коммерсантом), Сашенька поехал на дачу в Славянск, потом – в Алупку за вином для киевского Губздрава, оттуда – на Волинь закупать скот для интенданства армии Буденного. Справедливость требует сказать, что у него никогда не было заранее определенного плана; все делалось у него по наитию свыше, зависело от тех или иных реальных возможностей в виде особенно удачно сформированных документов, причем довольствовался Сашенька малым.

– Служить в советских учреждениях или в красной армии я не могу и не хочу принципиально, – говорил он мне, – а жить дома или учиться не дают. Что прикажешь делать? Вот я и плаваю в мире сильных ощущений риска игры с чекой. Конечно, я мог бы составить себе порядочный капитал на совдепской неразберихе, но, ей-богу, меня тошнит. Ведь – жульничество, как ни как. Потому, я поставил себе за правило «зарабатывать» только необходимое, не больше. Рад, что и обезоруженный наношу вред красным. Чего же мне еще надо?

На следующий день, утром, встреченный весьма почтительно, Сашенька получил в исполкоме железнодорожный пропуск в Одессу, а вечером, почему-то изменив решение, направился в том же костюме (ходил он всегда в английской шинели и «танках») и в тот же исполком с документами на имя какого-то Сергеева, ходатайствовать о пропуске в Ростов на предмет организации сборов в пользу больных и раненых красноармейцев.

Я страшно беспокоился за него.

– Послушай, это уже не смелость и даже не нахальство, а просто безрассудство.

– Ты думаешь? Ничего! Вечером будет только дежурный, который, кажется, меня утром не видел.

Пропуск в Ростов был выдан, но Сашеньку заметили. Знакомая барышня из исполкома срочно сообщила нам, что на вокзале прогуливается некто в черном, жаждущий схватить моего друга со всеми атрибутами его веселой профессии – фальшивыми бумагами, печатями, разноцветными карандашами и чернилами, красноармейскими, курсантскими и рабфаковскими значками, знаками отличия всех степеней и видов.

– Какой он «вумный»! – захохотал Сашенька и поздней ночью укатил на обывательской подводе в глухое село объявлять... мобилизацию лошадей согласно приказу окружного военного комиссариата от 19 августа за № 9345-а (приказ такой, действительно был, и, выдавая Сашеньке мандат, я действовал, таким образом, почти законно).

Через неделю меня посетил высокопоставленный босяк интернационального типа и принес небольшое письмо от «товарища председателя харьковской губернской рабоче-крестьянской инспекции, такого молодого, такого идеалиста», с которым он имел честь познакомиться в поезде.

«Мобилизация не удалась», – пишет Сашенька, – «только девять лошадей и куль белой муки продал в друг. губернии. Еду отдохнуть на Волгу. Устал я как-то. Vale. Саша».

Уже в Петрограде я получил от него еще одно, последнее письмо, написанное тем же милым, женственным почерком.

«Сижу в Москве третьи сутки. Здесь еще противнее, чем у нас, на юге, но я попал сюда по делу – украинский комиссариат земледелия послал меня за информацией. Думаю переменить службу. Мне обещали место в Внешторге. Удастся ли – не знаю. Сложно это очень...»

И теперь в стране холодной, неуютной, я все время жду его. Каждый раз, узнав о новой торговой делегации, о новом посольстве советского «правительства», думаю: а вдруг Сашенька? Но куда писать ему? Кто знает – какая баронская корона украшает бесшабашную голову моего веселого друга – «такого молодого, такого идеалиста»?..

Сашенька, откликнись!

Дом ребенка

Меня всегда сильно интриговал этот длинный голубой дом на углу Школьной и Торговой. Было в нем что-то действительно детское, наивное, простодушное, а где именно притаилось оно – не понять. То ли в аршинной вывеске с кривым серпом и молотом на слишком тонкой ручке, то ли в ряде прозрачных занавесок. Или, может быть, просто – так? Просто, подходя к этому дому, я почему-то настраивал себя на грустно-сентиментальный лад? Бог его знает...

– Мне приходилось слышать, что советская власть все-таки что-то сделала на «младенческом фронте», – сказал я однажды Петьке, – долговязому парню, проходившему курс наук в местной гимназии после того, как он года два уже был обременен семейством, столь же многочисленным, сколь и голодным.

Петька кивнул головой.

– Как это ни странно, но это правда; им удалось достигнуть крупных успехов. Хотите, отправимся завтра в «Дом ребенка»? У меня там знакомые.

– С большим удовольствием. В серии моих наблюдений не хватает именно этой области – области воспитания грудных ребят.

– Там не только грудные, – сказал Петька, подбрасывая в буржуйку угля, который он с некоторым риском для здоровья еженощно крал на вокзале.

Спустя несколько дней мы отправились.

Светлые, не совсем грязные комнаты. Картинки эдакого веселенького содержания на стенах – лубочные Психеи и пухлыми Амурами, прилизанная весна, непременный член приличного общества – «Остров мертвых», зайцы вверх головами. Все – как в лучших домах.

Диван, большой, широкий, с просиженной насквозь клеенкой. Хорошенькая, слишком хорошенькая девушка в розовой блузке несколько вольного покроя. Петька долго жмет ей руку («у меня там знакомые»), ржет – смеяться по-человечески он не умеет, пытается обнять.

– И всегда вы так, Петя... А еще образованный! – кокетничает девушка и говорит мне:

– Они, можно сказать, совсем ненормальные, как что – сразу целоваться лезут.

Петька берет меня за руку.

– Мой лучший друг, хотя насчет баб – балбес. Сволочь, одним словом.

Я уже успел привыкнуть к петькиной ругани, но все же пытаюсь остановить его.

– Замолчите! Ведь, все-таки это детский дом...

Петька чешет затылок.

– Ага... Конечно, вы правы. Да, кстати, о детях. Вот, Катюша, сей молодой, но многообещающий человек поместил в прошлом году сюда своего годовалого сына и горит любопытством знать, где таковой в настоящее время болтается. Понимаешь, отцовское

чувство и так далее. Откровенно говоря, такого папашу надо было бы выдрать по первое число, но я, как друг, должен помочь.

«Отец», т.е. я, стоит у зеркала и стойко сносит поклеп, вспоминая, как звали его легендарного сына.

– Это можно, – говорит Катюша, – я сейчас по книгам справлюсь. Имя и фамилия?

Петька быстро отвечает:

– Константин Шампанский. Такой, знаешь, здоровый, все орал, все орал, подлец.

– Девушка роется в толстых книгах, тетрадях, подносит отдельные листы к большим близоруким глазам, деловито кусает пухлые губы. Мой бедный сын, Константин Шампанский, без вести пропал, и Петька теряет терпение.

– Тут, милая, люди свои. Ты в комиссии по ликвидации безграмотности только до буквы «мэ» дошла; дай-ка я поищу. Я его живо, прохвоста, на свежую воду выведу. Давай.

– Смушенная Катюша протягивает ему толстую книгу в потрепанном переплете.

– Авдеенко Степан. Доставлен вторым участком милиции. На левой щеке родимое пятно. Твой? – спрашивает Петька, читая по алфавиту.

– Нет, у меня же этот... Шампанский. У него родинки на животе – три звездочки.

– Аксанова Елена. Блондинистая. Особых примет не обнаружено. Твой?

– Это, кажется, девочка...

– Это все равно. Байко Григорий. Найден у ворот. Скончался... Отчего это он, а?

– В помойку упал, – говорит Катюша. – Няньки при нем не было...

Петька нежно хлопает по обнаженному плечу девушки. Та ёжится, гримасничает.

– Молодец девка. Медали тебе за это не выдали?

– Я-то причем? Говорю – нянька. Ухажеры к им каждый день шляются.

– Ты тоже не зеваешь. Воловников Сидор. Твой?

– Нет. У меня Константин.

– Тут и Элеонору на Сидора переделают.

Моего «сына» в списках живых и умерших (последних было втрое больше) не оказалось, и девушка, сияя прелестными синими глазами, просит подождать, пока из Женотдела придет заведующая домом – она, наверное, знает о судьбе моего Костинки. Соглашаемся. Петька – совсем ненормальные! – располагается на диване, как дома: нога на ногу, в зубах – устрашающего вида трубка; его руки начинают подозрительно скользить по розовой блузке. Катюша смеется.

В соседнюю комнату приоткрыта дверь. По не совсем грязному полу расползлось человек десять детей, бледных, в неизменно засаленных рубашенках. Один упал со стула и орет во всю Ивановскую, что, видимо, мало занимает особу средних лет, художественно накрашенную. Особа смотрит [...] пытается пленить мое сердце очаровательнейшей улыбкой.

– Много у вас детей?

Особа начинает грызть ноготь и постукивать ножкой по полу.

– Это у нас выясняется по вечерам.

– Почему по вечерам?

– Система у нас, значит, такая. На день они расходятся по городу, многие удирают, а многие...

– Мрут?

– Вот так сказал: мрут! Всякие несчастные случаи бывают. За всеми не присмотришь.

У дверей стоит мальчуган в дырявом костюме из рогожи. У него воспаленные, залитые гноем глаза; лицо в какой-то омерзительной сыпи. С невольной брезгливостью глажу русую головку, спрашиваю:

– Как тебя зовут, малыш?

– Карл.

– Ты из колонистов? Немец?

– Он подкидыш, – поясняет особа, – и мы его записали в честь нашего великого учителя так: Карл Маркс. По-моему, очень остроумно.

– Очень. Ты сегодня обедал?

– У нас обедов нету, – шепчет Карл, - пугливо оглядываясь назад. Особа поясняет:

– По недостатку средств мы даем им только ужин. Да и то только потому даем, что иначе они все разбегутся, дурачье такое. Разве они понимают что-нибудь? Чувствуют добро?

Дубины.

– Что же ты ел сегодня, Карл?

– По добрым тетям походил, а они мне хлебца дали.

Не дождавшись заведующей, мы уходим. На улице Петька долго и обстоятельно рассказывает о прелестной Катюше. Мне как-то не по себе, тяжело. Завернув за угол, я спрашиваю:

– Неужели кто-то серьезно думает, что это – дом ребенка?

– Никто и не думает. Дети – только ширма. А на самом деле в этом «доме» все, начиная с заведующей и кончая последней нянькой – уличная дрянь; в нем процветают спирт и медицинские операции, законом запрещенные. Очень просто. Давно уже следовало этот дурацкий серп и молот заменить красным фонарем. А в городе этот «дом ребенка» недаром называется «домом от ребенка»...

ИЗ «КНИГИ БЫЛЕЙ»

В паутине

С ней мне не было страшно. Совсем не страшно. Она спала рядом со мной, на соломе, широко раскинув худенькие руки и опрокинув голову так, как будто над нами дышало синее-синее небо с цепочкой журавлей, за которыми хотелось следить.

А неба не было. Грязным полотном висел потолок полуразрушенной избы. Задымленные нитки паутины медленно спускались вниз, когда на чердаке гудел ветер. Просачивался он сквозь щели стен, шевелил ломкие стебли соломы, и серое кружево паутины снова льнуло к потолку.

Давно уже не было неба.

Когда-то – может быть, вчера, может быть, в прошлом году мы вышли из дому на север. Вышли солнечным утром, бросив никому уже ненужную усадьбу, где, говорят, венчался на царство Стенька Разин, сидя на прабабушкином клавесине. И клавесин бросили, и изрубленный топорами киот в пустой детской, и труп лошади на балконе с покосившимися колоннами, и много маминых слез на ступеньках низкого крыльца.

Солнечным утром прошли мимо мертвого села над огненным простором Волги, а вечером в незнакомой и тоже безлюдной долине почему-то умерла няня. Надо было похоронить ее в теплой земле, белую ее косынку расстелить вместо креста и написать на ней: «Здесь покоится няня, родная наша и верная».

Но сказал Андрей Иванович, крепко сдавливая ладонями сумку с хлебом:

– Рыть могилу долго. И нечем. Надо идти дальше, каждый час дорог. Нянюшка, да приютит тебя Господь в селениях праведных.

В кожаной сумке хранилось наше последнее: окаменевшие лепешки из ржи и проса. По зерну собирали мы хлеб наш насущный в птичьей клетке, по зерну размалывали его солнечным утром, когда, бросив все, всю жизнь бросив, ушли на север.

Надо было идти. Мы поцеловали маленький лоб и сухую, жилистую руку, нестройным хором пропели «вечную память» и пошли по росистой траве, с трудом поднимая ноги.

Я шел рядом с ней, с Люкой, поддерживая ее за острый локоть, думал о чем-то большом и сытном. И вдруг Люка крикнула маме:

– Няню найдут и съедят.

Острый локоть выскользнул из моей руки, колыхнулось зеленое платье. Я хотел ответить и засмеялся так громко и хрипло, что темный испуг взметнулся в маминых глазах, тусклых, выпланных. Она поскользнулась и упала, срывая с плеча Андрея Ивановича охотничью сумку с хлебом. Качнулась соломенная шляпа на удивительной, почти квадратной голове.

– Не надо, слушай...

Кто сказал это – не помню. Но мы вернулись к няне, долго рвали траву, цветы какие-то, сочные листья, стебли, засыпая ими еще не остывшее тело.

Зеленая душистая горка выросла над няней. Издали стогом свежего сена казалась эта могила.

Так не найдут...

Потом опять море скользкой травы, изнемогающая мама, незасеянные поля, пустынная дорога куда-то, едкая пыль, ранний рассвет, опять ночь, пыльная лента дороги, вымершие деревни.

Извилистым рядом гробов стояли избы. Ни собак, ни петухов, ни ветра. Тихо.

В первой избе – мертвый старик. Во второй, на лавке – голая девочка с прокушенной нижней губой. Андрей Иванович говорил, что у нее отрезана нога. Не знаю. В третьей...

В третьей мне неожиданно сдавил горло спрыгнувший с печи парень с вышедшими из

орбит глазами. Он дрожал весь, быстро вышлепывая изо рта одно и то же:

– А ты хлеба принес?. а ты хлеба принес?.. а ты...

– Мы тоже за хлебом...

Напрягая последние силы, Андрей Иванович ударил его в грудь. Парень грохнулся на пол и затих. Люка стала на колени, дрожащими руками закрыла остекленевшие глаза.

– Прости нас, бедный, милый. Прости. У нас только кусочек, немножко, а нас четверо...

Опять пыль, опять пустые поля, безлюдные улицы сел.

Солнечным утром вышли мы на север, неведомый, манящий, где в выжженной земле еще зрели колосья, где чужеземцы с сухими бритыми лицами раздавали так хорошо хрустящие под зубами лепешки, много-много риса, банки с консервированным мясом.

Солнечным утром вышли мы к хлебу и тихим, лиловым вечером вползли в полуразрушенную избу с узорчатой пряжей паутины.

Съели последний комок затвердевшего хлеба, жадно собирали крошки. Потом, ползая по двору на коленях, вырывали зубами жестокий кустарник; чешуйчатые листья, сочные корни, пахнувшие мятой. Потом затихли на глиняном полу.

Опускалась и снова льнула к потолку паутина. Гулял на чердаке ветер.

Мы умирали на глиняном полу.

С ней, с Люкой, случайно встреченной в первый день нашей дороги на север, случайной любимой, мне не было страшно.

Еще вчера, поняв, что ползти дальше нет сил, мы с огромным трудом вбили шест у хлопающих ворот, обмотали его зеленым платьем девушки, наверху повесили платье Андрея Ивановича. Это был наш якорь, наш маяк, нелепое знамя нелепой надежды: может быть, кто-нибудь заметит, спасет.

Разрывая на узкие полосы платье, Люка сказала мне так, как могла говорить только она, славная, нежная:

– Вы не думайте. Если не думать, не хочется есть. Только трудно стоять, да... Мы ляжем. Здесь тихо, тепло. Мы отдохнем... небо в алмазах..

Теперь она спала рядом со мной на истлевшей соломе, и на грязном полотне потолка искала алмазы. Их не было, их не могло быть, кротко мерцающих звезд, но строго смотрели вверх широко открытые глаза.

Я сжимал в кулаке заветную корку хлеба – если бы они знали... Я выкрал ее из охотничьей сумки... Отламывал по крохотному кусочку, подносил ее ко рту Люки.

Только для нее я вырывал жизнь у матери, у хрипящего на пороге Андрея Ивановича. Только для нее, разламывая хлеб, дрожа над ним судорожно, я берег свое богатство от самого себя и, протягивая его к полуоткрытому рту девушки, с суровой болью закрывал глаза.

Но крепко сжимались розоватые зубы, я не мог вдавить в них комков ржи и проса. Мелкие крошки скатывались по опрокинутому назад, такому острому, подбородку на солому, на пол, на оголенную детскую грудь. Люка уже не могла есть.

И почему мне было так радостно, умирая, говорить эти совсем не скорбные, совсем не похоронные слова?

– Они не знают, что ты – невеста. Мне так хорошо... Моя невеста. Вот отдохнем, а на поле – солнце. Усадьба, где Стенька Разин... Мама благославила уже. Видишь, церковь. Звонарь такой седой, сердитый. Но это ничего... Здесь покоится няня. На еще, у меня много, целый фунт, шестьсот пудов, миллион. Почему ты не...

Падали крошки на солому, на глиняный пол. Серебряной парчой полыхалась паутина. А ветер пел. Пел ветер.

– Мы будем ужинать на балконе, – говорил я, плача от радости, – долго, две недели. Все ужинать, ужинать на балконе, у колонн. Балкон... Балтийское... Бальмонт... О, моя девочка, о, моя ласточка, в мире холодном с тобой... На хлеба, Люка! Ты уже спишь, родненькая? Ну

спи, я ничего. Я так. Плечо мерзнет? Закрою. Ты не смейся, я поцеловать пальцы... А ветер – гу, гу-гу-гууу. Люблю тебя. Насовсем, навсегда. У меня еще есть, у меня еще много... Понимаешь, – булка, и откусить. Она мягкая, а корочка – хрустит. Вот смешно – откусить и потом... корочка... И мягкая...

Так ползли часы, дни.

Может быть, этого и не было. Было, наверно.

Андрей Иванович, прижав голову к коленям, покатился по полу. Сверкнуло стекло в сломанных очках, иссиня черное лицо прильнуло к глине, слизывая крошки громко хлюпающим языком. Андрей Иванович ущипнул меня за ногу и улыбнулся.

...Шляпу его на шест, маяк – решил я. Вот хорошо. Шляпа... и засмеялся трудным кашляющим смехом.

– Я, Андрей Иванович, женюсь. В половине второго. Мама уже... Это ничего. Будете шафером...

Он торопливо сделал из соломы тонкий жгут и замахал им, качаясь на согнутых коленях.

– Имею честь. Профессор Санкт-Петербургский и ладожский. Необычайно. Чайно. Пекин, Нанкин и Кантон сели рядом в фэтон. Хо! Нобелевская премия – мне. Девять лет я искал. И вот. Пожизненный памятник должны...

– Мама!

За спиной застонало что-то, зашумело.

– Еще живу, мальчик. Ты?

Я, как Евангелие, поцеловал спутанную косу Люки.

– Тоже. И она, живая. Мы не умрем, мама. Я, мама, люблю ее. У меня еще есть..

Андрей Иванович вытянул квадратную, прыгающую голову и сказал, быстро вращая мутными зрачками:

– Открытие: Бога нет. Это перевирает. Я искал, нашел: нет Бога...

Сведенная судорогой рука затряслась у стены. Нечеловеческой болью хлестнул тишину крик:

– Повесили Бога! Я открыл: на дыбе – Бог...

Он изогнулся, пополз к девушке.

– Трупоед, людоед, людовед... Ладожский... Професс...фес... а у той – отрезана нога. Ели ногу. Хотите... хи... руку... мясо...

Я приподнялся на локтях и упал на Люку, обнимая холодеющие, неподвижные плечи. Гладил опрокинутый назад лоб, открытие глаза, щеки и говорил ему, в сломанных очках:

– Пошел вон, милый. Ну ты видишь же. Пошел вон.. Мама, он хочет..

Андрей Иванович, хрипло дыша, покатился к порогу.

– Шутя... я же не... Вы ошиблись. Ошибся... Мне бы раз только, раз... Немножечко...

Солнечным утром вышли мы на север. Солнечным днем нас нашли в полуразрушенной избе с узорчатой пряжей паутины.

Странные, отрывистые речи рассыпались в мертвой тишине. Почему-то внесли к нам маяк наш, надежду нашу – длинный шест с соломенной шляпой наверху. Подымали бесчувственную маму, дымили сигарами.

И никак я не мог понять, почему сошедший с ума Андрей Иванович плевал в несгибающегося старика с длинным сухим лицом и кричал ему, показывая на Люку:

– Открытие... Хи... А она уже... пахнет. Третий день молчит... Я хотел...

Старик вздохнул, направляясь ко мне.

А я плакал так, как плачут дети, вытирая кулаками слезы. Плакал, падая на пол, стуча разрывающейся головой в закопченные стены, плакал и просил, просил, задыхаясь, захлебываясь:

– Ну встань, Люка! Встань. Нам же в церковь... Встань, лепешки здесь. Рис... Уже не надо думать. Встань!

В теплушке

Задние колеса вагона скрипели очень подозрительно. Дребезжащий тягучий звук надоедливо отдавался в углах тоскливым всхлипыванием. Может быть, перегорала ось.

Впрочем, Фомка говорил, что железо ни за какие двадцать не горит, и все это господские выдумки. Был он очень умен, этот огненно-рыжий толстяк с недавно ампутированной рукой.

Иногда весь вагон подпрыгивал... Лязгала тогда ржавая крыша теплушки, с треском раскрывались двери. Потом, успокоившись, снова подозрительно скрипели задние колеса.

У раскаленной докрасна чугушки, закрыв глаза, сидел Папаша. Как его звали по-настоящему – никто не знал. Влез он в вагон на станции Лозовой, просунув сперва огромную плетеную корзину с пожелтевшими от времени газетами. Семен Ткаченко, старший унтер, газетами растапливал печку, а в корзине спал Черт, всклокоченный пес неизвестной породы. Его тоже подобрали на Лозовой.

Закрыв выцветшие глаза, Папаша сидел у печки и жевал консервную воблу, сплевывая кости в огонь.

Облитый соусом хвост шлепнулся на раскаленный чугун, и по нарам серой волной прошел чад.

– Хочешь, дед, я тебе морду набью? – предложил Фомка, высовывая голову из-под шинели.

– Вони-то, вони сколько. И не заснешь. Не нажрался за день, что ли?

Папаша осторожно выплюнул кости в банку и выбросил ее за дверь. На минуту колыхнулась узкая, засыпанная звездами полоса ночного неба. Морозный ветер ворвался в теплушку. Тявкнул в корзине Черт.

– От сволочь, просты Господы! – отозвался старший унтер и стал закуривать, нетерпеливо крутя колесо зажигалки. – Жарко, так ты сигани, Папаша, с вагоном униз головой. Усе одно чадишь тольки.

– Старик подбросил в печку углей. Потом сунул что-то в рот, торопливо проглотил и хлебнул кипятку из черного от сажи чайника.

Оранжевый язык огня лизнул заиндедевешую дверь, унтерские ноги, приплюснутое у висков лицо Папаши с заблеставшими вдруг глазами.

Прыгнул вагон. Выругался спросонья Фомка. Двумя ленточками качнулся галстук папаши: грязно-желтый шелк с красными Божьими коровками.

Засунув под люстриновый пиджак Божьих коровок, старик чихнул, резко качнув головой. Известный всему эшелону котелок – рыжий, весь в сальных пятнах – покатился по заплеванным доскам.

Чудесный головной убор этот никогда не снимался. Впервые блеснул желтый череп, увенчанный темно-бурыми волосами на макушке. Они свисали на затылок вьющимся пучком.

«Почему я его так ненавижу? Ведь глупо это...» – подумал корнет Чубеко, с трудом передвигая раненную ногу. Подумал и бросил на пол «Братьев Карамазовых» с фомкиными каракулями на переплете: «Хто ето прочитаит значалу до конца так тот ишак. Зпочтением Фома Антонович Горликов».

Книгу дал корнету случайный попутчик – фельдшер, похожий на херувима юноша, весь в льняных локонах. Уходя из вагона, он украл у Ткаченки мешок с вещами. Утром унтер, прочитав главу из Евангелия, что он делал каждый день, торжественно предал фельдшера анафеме.

– Смотрю вот сейчас на ваш череп, – сказал криво улыбаясь Чубеко, – и меня тошнит. Чего вы не спите, спрашивается?

Папаша вздохнул.

– Бессоница. Мысли всякие в голову лезут. Да и негде.

– Мысли? Поздно, знаете. Надо было раньше. Вообще, на вашем месте я давно бы повесился. Честное слово. Погадили, можно сказать, на славу.

Снова качнулся вагон. Покрыв шинелью голову соседа, встал Фомка. Он старательно скрутил сигарку и подошел к чугунке за огнем.

– Ну и навонял же ты, дед, аж глаза колет. Сколько часов?

Старик вынул серебряную луковицу и долго всматривлся в циферблат.

– Семь минут одиннадцатого. Мои, кажется, отстают.

– Перекрестись три раза и выкинь.

Когда Фомка улегся и четко запылала багровая искра папиросы, Папаша снова и торопливо проглотил что-то, пригнувшись к полу. Корнет раздраженно ударил кулаком по нарам.

– Не отворачивайтесь, дорогой мой, поменьше стеснений. Будьте, как дома. С пеленок лгали, будьте честными хоть теперь. Весь вагон знает, для чего вы глотаете сухие дрожжи, запиваете их водой. Собственный винокурный завод, изготовление водки домашним способом.

Видимо, слова Чубенко очень смутили старика. Он поперхнулся и закашлялся, положив руку на Божьи коровки.

– Я все мерзну. Это согревает.

– Ага, согревает. Какой вы мерзавец. Вы, ей Богу же, мерзавец. Будь вы помоложе, я сбросил бы вас на полотно.

Горящие неестественным светом глаза Папаши недоуменно открылись. Он был уже слегка пьян.

– За что?

Корнет привстал.

– До сих пор вы этого еще не поняли?! За то, что вы исковеркали мою жизнь.

– Я, вашу? Что-то... н-не понятно...

– Да, именно вы, и именно мою. Вы исковеркали много жизней, но пусть другие призовут вас к ответу. Я говорю о себе, о сем, что нестерпимо болит. Вы запытали до смерти мою жизнь, а она так нужна мне. Она одна у меня, последняя. Чистая ли, грязная – это не ваше дело, но она моя, только моя, и никого другого. А вы бросили ее в кровь, которой я не хотел, заставили ее метаться по стране, разрушенной вами, слышите, вами! Моя жизнь, господи!

С тихим свистом дрожали оранжевые угли. Старик дремал.

– Кто же мог думать, – проронил он – что все это так выйдет.

– О, конечно, в парижских и женевских кабаках вам снился рай! Но даже – рай. Пусть даже вы переселили бы небо на землю. Но и в таком случае, кто вам дал право, кто, я вас спрашиваю, дал вам право готовить для меня этот рай? А если я не хочу его, что тогда? Если мне дороже земля, которую не вы мне дали, не вам и отнимать ее. Ведь не о себе же вы заботились в подпольных притонах, а о потомстве, благодарном потомстве.

Забыв о ране, корнет вытянулся во весь рост, застучал указательным пальцем по косяку двери.

Ставший вдруг гортанным голос перешел в стададьческий крик, от которого зашевелились затушеванные мраком фигуры на нарах.

– Я – потомство. Я один из тех, ради кого вы убивали царей, министров, старших и младших дворников – кого вы только не убивали! Ради кого вы всех проституток и сутенеров обучали революции, а потом выпустили эту вшивую дрянь на Россию, как бешеных собак. И вот я, благодарный, черт возьми, потомок, я хочу наконец знать – разрешал ли я вам – гадить мое будущее или не разрешал? Мое, слышите, мое будущее, мою молодость, мою жизнь, мою семью, мою родину? Давал я вам право, пророк вы базарный, на моих нервах, на моей крови играть в вашу вонючую революцию? Нет, не давал! Не давал я, не давал! Почему же в таком случае...

Корнет, прихрамывая, подошел к чугунку. Голова его тряслась в нервном припадке.

– Почему вы, пьяная балда, закопали меня в землю живьем? Облагодетельствовать хотели, голубчики? На гуще кофейной гадали – вот, мол, не жизнь, а масленницу сработаем, а вышел – сортир. Ну и копайтесь в нем, но я-то тут при чем? При чем я, Боже мой, Боже?!

Немигающими глазами смотрел Фомка на Чубеко. Текли по мертвенно-бледному лицу корнета частые слезы. Падали они на искрящийся круг печки, шипящим дымком прыгали вверх.

Папаша, ежась, встал с ящика. Рука его почему-то опустилось на сваленный у двери уголь.

– Н-не по адресу... того. Обратитесь к большевикам. Это они. Я вообще-то с вами...

Зацепив локтем чайник, корнет упал на костлявые плечи в люстриновом пиджаке, затряс их в безудержном гневе.

– Вот... Большевики? Заяц ты подлый. Большевики? А кто им уготовил путь, а? Ты. Размозжить тебе голову о косяк, швырнуть на полотно? Швырнуть?

Нежданно сполз с нар старший унтер. Он снял трясущиеся руки с люстринового пиджака и, минуто подумав, вытер корнетово лицо полрой шинели. А когда усаживал ставшего покорным офицера на покрытый попоной ящик, сказал покровительственно-строго:

– Вы хуч и хосподин корнет, а дурнее Хвонки.

– Сам дурак! – весело отозвался Горликов.

– Ноги лишимшись, а тоже туды – балачку заводить. Охота з яким-то каторжником сципляться. Ну его к бису. Папыросу дать?

У стены, где особенно резко жужжал колесный скрип, с трудом сел на нары военный чиновник, Будков, из псаломщиков, третью неделю умирающий от какой-то странной болезни, покрывшей все его тело гнойными волдырями. Будков приложил горящую щеку к заиндевевшим доскам и заговорил в беспамятстве:

– А снилась мне, Аннушка, церква. А на церкве то, будто радуга – яко знак милосердности. И говорит, будто, Дух Святой: возьму, говорит, Будкова, военного чиновника, и где же праведные упокоются. И подняла ты, Аннушка, оченьки свои, Духу Святому ответствуешь: воля Твоя, Господи, да исполнится и на небеси, и на земли. И представился, будто, Аннушка, военный чиновник Будков. А радуга на церкве той в огонь пожирающий превратилася...

Фомка с опаской перекрестился.

– Кончается, братцы. А Аннушка – баба его. Окромя того, мальчишка годовалый остался, Мишутка. Когда еще в памяти был, рассказывал. Я, говорит, Аннушку, больше России люблю, а в то пошел за белыми сам, по доброй воле, значит. Карточку показывал. В жисть таких не видывал: красавица и есть.

По правую сторону полотна послышались выстрелы. Хрипло заревел паровоз... Ткаченко встревоженно прислушался.

– Недалеко. Может, верста, а то и меньше.

Вздрагивая всеми своими суставами, резко замедлила ход темно-бурая гусеница эшелона. Звякнули жалобно буфера.

В дверь ударили прикладом, и чей-то звонкий голос крикнул:

– Выходи!

Разрыв уголь, Ткаченко вытянул сколоченную из оглоблей лесенку и спустил ее на полотно. По ней осторожно сполз в заледеневший сугроб Чубеко и, прихрамывая, подошел к соседней платформе.

– Кто это стреляет, Петя?

Тот же звонкий голос ответил:

– Так то махновцы, господин корнет.

По насыпи взад и вперед двигались тени. У моста, где клубы пара выбрасывал паровоз с заваленным шпалами тендером, кто-то захлебываясь давал распоряжения выскакивающим из теплушек раненым.

– Без паники! Тяжело больные оставайтесь в вагонах. Два пулемета на первых платформах, три на последней. Зарядить винтовки! Кто там, черт возьми, стреляет? Поручик Долбин, вам я говорю или нет – не стреляйте без команды!

Справа, у запыленной снегом реки, смутно блеснул огонек. С воющим свистом пронесся снаряд. Разорвался он шагах в пятидесяти от замыкавшего поезд вагона. Вкладывая озябшими пальцами ленту, вихрастый пулеметчик Петя склонился над Максимкой, привинченным к платформе.

– Ого, и пушка у братишек нашлась. Жаркое будет дело, господин корнет. Покажем и мы кузькину мать. Помирать, так с музыкой, верно?

С усилием закрыв затвор – как-то попала в винтовку угольная пыль – Чубеко насмешливо окликнул Папашу.

– И вы тоже здесь? По-моему, это непоследовательно. Подумайте вы, старый социал-революционер, по махновцам будете стрелять. Забавно! Ведь эта банда тоже за землю и волю. Или – воля волей, а шкура шкурой? Эх вы, головотяп российский!

Съежившейся у пулемета старик ничего не ответил. У другого пулемета старший унтер, отмахиваясь от колкого снега, читал наизусть второе послание к иудеям. Однорукий Фомка, опустив дуло на край платформы, сказал участливо:

– А Будков очнулся. Будто, вся смерть прошла. Я, говорит, за белых Аннушку с дитем оставил, так помирать должен с вами заодно. Да силы в ем совсем нету, на уголь и упал.

Медленно заскрипели колеса по белым полоскам рельс. С тендера в синеватую мглу хлынула пулеметная струя. С реки ответили частой дробью винтовок. Когда вагоны загудели по мосту, на прибрежный холм вылетели две тачанки. Сзади них зажглась искра, другая. В грохоте выстрелов прорывались неистовые крики:

– Кадеты... Сдавайтесь... золотопогонники...

– Онники.... – отдавалось в степи.

Взвизгнул паровоз, рванулся вперед. С платформы лихорадочно защелкали пулеметами. Кто-то бросил гранату, брызнув ослепительным заревом, она на миг осветила тачанки на покато́й насыпи.

Злобно крикнув, Петя быстро направил пулемет влево, всем телом лег на равнодушно постукивающий аппарат смерти. Веер пуль врезался в группу подбежавших к полотну махновцев, опрокинулась тачанка. В зареве гранат, которые с соседней площадки беспрерывно бросал старший врач санитарного поезда, было видно, как покатались вниз тела нападавших.

Бешено скрипели колеса. Сливаясь с эхом стрельбы, морозный ветер леденил пальцы. Знакомое опьянение борьбой снова натянуло нервы Чубеко до того, что, казалось, слышит он сумасшедшее биение всех сердец, видит, как пылают зрачки всех глаз в этом летящем по равнине снега и смерти эшелоне.

Казалось простым и понятным, казалось совсем не страшным, что однорукий Фомка, скрючившись над винтовкой, с остервенением рвал курок и, после каждого выстрела, кричал восторженно:

– А любо, господин корнет. Ох, любо! Пли! Хватил? Пли, дрянь!

Казалось естественным, что Папаша стоя стрелял в синеватую мглу. Давно уже была пуста обойма в винтовке старика, давно уже щелкал его курок по пустым гильзам, но, качаясь на прыгающей платформе, он по-прежнему целился куда-то, по-прежнему надтреснутым голосом говорил кому-то:

– Так-с, пальнем. Так-с.

Как было чудесно и ясно и то, что Ткаченко дырявил своим пулеметом не только оставшегося позади врага, но и все, бешено плывшее перед глазами: железнодорожные щиты, шпалы, сугробы снега, синеватую, искрящуюся мглу.

Сразу утихла пальба. Уже Петя снял английскую фуражку, вытирая вспотевший лоб, когда оттуда, с потонувшей вдали реки, прорезая воздух тонким ножом, упал снаряд.

Упал на крышу соседнего вагона, где умирал военный чиновник Будков, где спал всклокоченный Черт. Папаша как-то растерянно не то уронил, не то бросил винтовку. Корнету вдруг вспомнилась оранжевая в черную полоску коробка папирос «Фат».

«Курили их тайком на переменах в сторожке гимназии... Сейчас разорвется... А классный наставник Владимир Павло...»

Разметав ржавое железо, испорошив гнилые доски, снаряд окутал теплушку и платформу едким дымом. Стекланный грохот разрыва вибрирующей волной поплыл над заснеженной степью.

Когда ветер сдул с платформы дымку, мертвый корнет лежал у изломанного пулемета, тесно прижавшись окровавленной грудью к люстриновому пиджаку старика. Раздробленная осколком голова Папаша билась о плечи Чубеко. Запекшиеся куски рыжего котелка прилипли к вискам. Старик, ловя судорожно открытым ртом морозную пыль, шептал мертвому корнету:

– Понял я... И искупил... Оба умер... мерли... Пальнем... Так-с...

Английская фуражка Пети повисла на расщепленных досках. Его самого, старшего унтера и Фомку, ударив о борт платформы, снесло на полотно.

Впереди разгорающимся пламенем горела теплушка. Монотонная музыка метели глушила последние крики военного чиновника Будкова и мучительный вой Черта.

Эшелон, как раненная птица, из последних сил неся вперед.

Задние колеса охваченной огнем теплушки по-прежнему скрипели очень подозрительно. Может быть, перегорала ось.

Впрочем, Фомка говорил, что железо ни за какие двадцать не горит, а все это господские выдумки.

Чудо

Говорили о чудесах. Одним то или иное невероятное происшествие казалось простым стечением обстоятельств, игрой случая. Другие усматривали в нем руку Высшей Силы.

Равномерно и глухо катило ночное море шумные волны свои к затерянному на просторе острову. Круглый, оранжевый щит луны, казалось, чуть колыхался в вышине. Отражение его в воде широким снопом подбегало к нелюдимым скалам, взбиралось на них, роскошно горя на иглах одинокой сосны. Тени от скал мнились тенями покойников. Далеко на море тревожно выла сирена.

И лунный щит, и каменные мертвецы, и вопль сирены давили сердце непояснимой, только в безлюдье знакомой таинственностью. И под этой сладкой и грустной тяжестью еще разительнее были рассказы о чудесах.

Раскладывая костер, страшную историю о богохульнике-звонаре, убитом упавшим на него колоколом, рассказал Ситников, безногий доктор в забавных черепаховых очках. Помолчали.

Сухой хворост горел веером. Доктор подбросил сучьев и вдруг поднял голову, внимательно к чему-то прислушиваясь.

– Слышите, господа?

Вокруг острова была мертвая тишина. Но с вышины, от лунного щита явно доносился колокольный звон. Низкий гул тяжело спускался в воду.

– Поблизости нигде церквей нет, – сказал я недоумевая. – Может быть, это дальнее эхо?

– Ближайшая отсюда колокольня – километрах в тридцати, – сказал кто-то. – И потом, почему звон не со стороны, а сверху?

Снова заговорил доктор:

– Только что рассказывал я о звонаре. И вот – звон... Просто самовнушение. Постарайтесь на минуту отвлечься чем-нибудь, он и умолкнет.

Молчали долго. Когда из чайника со свистом полилась вода, я взглянул на лунный щит. Громко звенел невидимый колокол.

– Звонят все-таки, доктор. Звонят.

Среди нас был Константин Федорович. Фамилии его никто не знал. Константин Федорович днем красил в городе крыши, вечером и ночью пил до потери сознания. Глаза у него всегда слезились, лицо со свороченной в сторону скулой всегда было искривлено дикой улыбкой. Каждый раз, видя его перед собой, мне казалось непонятым, для чего мы берем на остров эту пьяную обезьяну.

Константин Федорович, выбивая о камень табак из прокопченной трубки, усмехнулся раздраженно:

– Ангелы, видно, литургию служат. Ну, и жарят в свои колокола.

И оттого, что упомянул он ангелов, всем стало почти ясным, что только ангелы и могли звонить в эту таинственную ночь над необитаемым островом. Почти верилось в эту небесную литургию.

Прошло пять минут, десять. Райская служба незримо продолжалась.

Громко пели далекие колокола и тогда, когда Павлинов, бывший капитан, начал свой рассказ.

«Много необычайного на свете Божьем. Порой это в действительности оказывается случаем, совпадением. Но иногда подумаешь, поразмыслишь и ничего другого не остается сделать, как поверить в чудо.

Позвольте рассказать один эпизод из недавнего прошлого. Все в нем – голая правда, от первого до последнего слова.

В начале 1920 года лежал я в новороссийском лазарете. Был у меня брюшной тиф. Тогда три четверти Добровольческой армии переболело этой мерзкой штукой.

Вот, лежу, значит, в палате. Дело идет на выздоровление. Доктор разрешил уже есть яйца, пить молоко кипяченое. А кормят нас отвратительно. Чувствую, что еще неделя-другая такого питания – и угробят меня без пули. А после тифа, как известно, хороший стол – первое дело.

Начал я вещицы свои через санитаров на продукты выменивать. Отдал почти все белье, чемоданчик был кожаный – отдал, хороший костюм отдал, сам в рванье остался. Раздел себя, как липку. Неделя прошла, опять голодаю адски. Разруха в тылу уже началась полная; в лазарете грабили живых и мертвых. Нас кормили червивой селедкой и прошлогодним хлебом. Даже сахару не было.

Расстался я с шашкой своей. В серебре была вся, сгибалась вся в круг, как лоза. Тяжело было отдавать, да что поделаешь. Голод не тетка!

На шашку прожил я дней десять. Тут как раз наши Ростов сдали. Для эвакуации силы нужны, а я еле ногами передвигаю от слабости. Надо было во что бы то ни стало добыть еще несколько десятков яиц, буханок хлеба, масла и прочее. У санитаров попросил. Сколько вы, говорю, на моих вещах заработали, помогите. Никто и горбушки не дал, зверье.

А из вещей у меня и осталось, что крест нательный. Массивного золота, удивительной работы. Таких нигде не видел. Когда уходил на войну, еще немецкую, мать благославила им. Внизу был крупный рубин вделан. Цепь тоже тяжелая, массивная.

Стал я ночью на колени у своей кровати, долго молился Богу, чтобы простился мне этот грех. А утром отдал крест санитарам...

Полный мешок провизии притащили мне, и денег пачку. Конечно, они и себя не забыли.

Крест стоил по крайней мере втрое больше. Но не в этом дело.

Пришла наша армия в Новороссийск. Вы, вероятно, слышали, при каких условиях пришлось эвакуироваться. Скажу одно: это был ад. За спиной советская артиллерия, пароходов недостаточно, больше половины офицеров и солдат больны тифом, масса раненых, толпы гражданских беженцев. До сих пор в толк не возьму, как я выбрался тогда из Новороссийска. Но и в городе, и на пароходе уже не голодал, слава Богу и маминому кресту.

Привезли нас в Крым. Сначала в Керчь попал, потом в Феодосию, где переформировалась моя часть. Постепенно стали забываться недавние ужасы. Одного никак забыть не мог: креста. Нет, нет да и приходит на ум. Все, кажется, отдал бы, лишь бы вернуть крест.

Иду однажды по Феодосии. Было, помню, воскресенье. Солнечная погода, масса гуляющих. Подхожу к парку, вижу на тротуаре, между сотнями мелькающих ног блестит что-то. Наклонился – мой крест. Без цепочки, но мой, мой крест. Тот же рубин внизу, та же надпись на обороте – мама выцарапала – Николай, мое имя. Признаюсь я от неожиданности заплакал...

Так вот, как вы думаете, чудо это или случайность? По-моему, чудо. Таких случайностей не бывает. Почему мой крест попал из Новороссийска, через море, в Феодосию? Почему его потерял кто-то? И, самое главное, почему только я его заметил и поднял? Ведь мимо шли сотни, если не тысячи...»

Павлинов замолчал. Мы молчали тоже. Не молчало только море, да таинственный небесный звон. Костер погас. Доктор, сняв очки и стыдливо отворачиваясь, вытирал глаза.

Константин Федорович, выронив из рук пустой канистр от спирта, упал лицом в остывшую золу. Его не поднимали.

С торжественной грустью звонили ангелы...

Четки

Помните? Июльской ночью мы плыли по Днепру. Годы тогда были тихие, как ковыльный шелест перед бурей, как вот – кроткая боль моя, больная память моя об утерянном.

Сонно похрапывал белый пароход, вилась за ним широкая змея пены. Колесо в мохнатых, синеватых брызгах катилось по реке легко и радостно.

Чугунная скамья у самого борта колыхалась в такт волнам, скрипела недоумевающе. Как будто и она, вместе со мной, не понимала – почему вам, такой случайной, незнакомой такой, вздумалось читать мне терпкие ахматовские стихи. Мне, почти мальчику, смущенному обручальным кольцом на девичей руке, голосом вашим убаюканному:

Мальчик сказал мне: «Как это больно!»
И мальчика очень жаль.
Еще так недавно он был довольным
И только слышал про печаль.

А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.

И казалось мне, что Ахматова для вас, только для вас и низала заплаканные бусинки этих строк. Казалось, знала, что будет вот – белый пароход, вы, любовь ваша нечаянная, смущенный юноша над зеленоватой ртутью Днепра.

Смотрел я вам в глаза долго-долго, боялся захлебнуться в сказочном водоеме глубокой, ранящей нежности. Гладил руки ваши – «как беспомощно, жадно и жарко гладит..» – смотрел, как с губ ваших девичьих слетала «Белая стая» неровных, прерывающихся строк и рифмами, как крыльями, звенела над палубой...

* * *

Помните? В Новороссийске хоронили Россию. Ураганные годы обрывались круто и жестоко «у самого синего моря»...

По Серебряковской плыла толпа. Бледные, страшными буднями исковерканные лица, потертые чемоданы в руках, неясный гул голосов.

– Пардон, вы на Принцевы острова?..

– А фунт опять скачет...

– Катя вчера повесилась. У нее двое...

– Англичане везут в Константинополь, На Собачий остров...

В толпе я увидел и вас. Вы шли рядом с полным седым полковником и так смешно прятали лицо в серое потертое боа.

Разве было так уж холодно?

Ваше имя забылось. Но, сжав сердце крепко и неожиданно, всплыл вдруг Днепр, белый пароход, мальчик, который «знает уже все не хуже мудрых и старых вас», обручальное кольцо на тонкой, прозрачной руке. Вспоминалась та, чье имя сплелось с забытым вашим – Анна Ахматова.

Показалось на минуту, что и седой полковник, и серое боа, и мертвая Россия, и сданный вчера Ростов, все это – так, выдумка, шутка. Что вы бросите сейчас навстречу норд-осту сноп душистых, как первые цветы, стихов ахматовских. Расскажите нам о том, что радостно и благословенно. Чего не отнять. Что не умирает.

Никогда не умрет.

* * *

Помните? На харьковском вокзале арестовали белогвардейца. Был он загнан и худ, но дерзко кричал на задержавшего его матроса с рябым, простодушным лицом:

– У меня мандаты! Не видишь, балда? Я буду телеграфировать Дзержинскому...

– Это выяснится, товарищ, выяснится, – успокаивал матрос. – Чичас из отека прыдут. Тут только одна хвармальность..

И пришли... – вы. Как и все они – в кожаной куртке, с наганом без кобуры, мягко шелестела синяя юбка да алели в ушах рубины. Кажется, те, новороссийские...

Вы быстро оглядели арестованного, растолкав толпу любопытных.

– Я вас знаю, товарищ. Надеюсь, и вы меня. Вы были адъютантом полка, которым командовал мой отец, и при эвакуации Крыма оставлены белым командованием для пропаганды. В губчека!

Его увели. В углу, на коленях у растрепанной, босой бабы надрывно плакал голодный ребенок. Простуженно выл паровоз.

Вы ушли, резко хлопнув дверью с потускневшей меди дощечкой: «Зал первого и второго класса».

Вы ушли, а они остались со мной. Они – Днепр, белый пароход, Новороссийск, вытертое боа, седой полковник, мертвая моя Россия. В луже вокзальных плевков и грязи расцвел ахматовский «Подорожник». Под сизым от дыма потолком поплыла «Белая стая».

Только четки вы взяли с собой. Не книгу стихов ахматовских, прекрасных, как любовь девичья, как молодость наша расстрелянная. Не «Четки» – тоненькую книжку с черными струйками слез.

На кожаную куртку надели вы длинную связку – казалось, стучала она о наган – четок, выточенных из желтоватой, хрупкой кости, по обряду ордена, всосавшего вас в свое безумие.

Четки из человеческой кости.

ИЗ КНИГИ «ПЛЕН» КРЫМ, 1920

Чонгарский мост

– Что это там такое – красное? Видите? По ту сторону моста, рядом с железнодорожной будкой... Да вы не туда смотрите, правее берите...

На Северной стороне Сиваша, то рассыпаясь красными точками, то сливаясь снова в живое пятно, маячили какие-то фигуры.

– Вижу – ответил я, силясь вытянуть ногу из густой грязи.

– Плюньте вы на них... Какое нам дело? Мы – бедные мобилизованные, по бессознательности своей обманутые белогвардейцами... Однако, холодно как. Я совсем ооченел.

Поручик горько усмехнулся и мы поплелись дальше. Ветер ныл бешено, гнал по дороге коричневые волны воды, остро свистел в ушах. Как вылинявшие, изорванные флаги, неслись по ветру наши лохмотья, оголяя грудь и спину, мокро липли к ногам. Было трудно и больно идти.

На мосту, немного разрушенном в последнем, смертном бою, кипела работа: с обоих концов моста несли на середину большие камни, вкладывали их в трещину, вбивали заступами, засыпали мелким щебнем и песком. Далеко разносилась крепкая, отрывистая ругань рабочих, надрывисто кричали надсмотрщики – красные саперы:

– Подавай песку, сволочь! Аль заснул, туды твою в душу!

Рябой мужичок, объезжая груды бульжника и щели, подвозил песок. Тихим тенорком ржала белая костлявая кобыла.

Всякий желавший пройти мост, должен был уплатить за это своеобразную дань: пронести на середину моста увесистый камень, и тогда его отпускали с миром. Но так как белые пленные – как известно – не люди, то нас заставили таскать камни до позднего вечера.

- Поработай, милый, на республику, – сострил один из саперов – оно, конечно, работа не барская, зато плата хорошая: кончишь – по морде дам.

(К чести его, надо сказать, что он не сдержал своего слова и, отпуская нас, дал многим, в том числе и мне с поручиком, по куску хлеба.)

С отчаянной решимостью я наклонился над первым камнем, поручик закричал рядом. Сперва было очень трудно разогнуть застывшие пальцы, мокрый камень выскользнул из рук, но полная безнадежность положения заставила напрячь все силы, вогнала усталость во внутрь. Работа с трудом пошла, стало теплее. Через час-два мы уже превратились в машину – ничего не понимая, шли ковыляющими шагами к камням, хватали, царапали руки до крови, первый попавшийся, несли его, спотыкаясь, к месту разрыва. В таком же иступлении работали и другие, оказавшиеся почти поголовно «нашими», т.е. «белыми бандитами». В глазах все кружилось, от острого голода и усталости мучительно ныла голова...

Когда стало темнее и от перил упали на Севаш лиловые тени, на мосту показалась толпа пленных калмыков. Раздетые донельзя, с выбитыми зубами и кровавыми ссадинами на лицах, они шли, испуганно ежась друг к другу, шли молчаливо и горестно, как будто знали, что впереди – смерть.

Их сразу же заметили.

– А, калмычата, здорово, ребята – весело и даже как будто ласково, крикнул один из тех, что, во всем красном, маячил у будки, когда я подходил к мосту (как оказалось потом – член реввоенсовета XIII армии).

– Да здравствует победоносная белая армия! – и, видимо, страшно довольный своей остротой, сильным ударом нагайки сбил с ног переднего калмыка и сбросил его с моста в

воду. Повернувшись в воздухе, калмык грузно шлепнулся в самую слизь Севаша, барахтался в ней до тех пор, пока его не пристрелили сверху.

На мост быстро сбежались остальные члены реввоенсовета.

– Что за выстрелы?.. А, калмыки...

– На, закури! – предложил почти голому калмыку юркий прыщеватый парень в красных гусарских чахгарах папиросу, всунув ее в дуло нагана. Калмык курить отказался и с гортанным криком полетел в Сиваш, обрызгав кровью камни... Еще выстрел... Еще... Через десять минут на мосте не осталось ни одного калмыка. Кровавые пятна мутно расплзались по гиблой, мертвой воде Сивашей...

– Какой ужас... что они делают... – стоит сзади меня пожилой «бандит», подымая камень.

Я ничего не отвечал, вспоминая недавнее, милое... У нас в полку был калмык, лихой кавалерист, как и все они, храбрец примерный, словом – пистолет. Любил свой Дон нежной любовью, России был предан всей своей полудикой душой... Мы часто шутили над ним:

– Смотри, Ахметка, в первом же бою сдашься в плен...

Оскалив крупные зубы, Ахметка говорил всегда уверенно:

– Мой пойдет в плен. Нэльзя – у Ахметки морда кадэт...

Где она, твоя «морда кадэт» теперь, косоглазый, маленький герой пленной России – в рудниках Болгарии, на поле какого-нибудь турецкого паши или... в соленой могиле Севаша?

Дневник

Когда за ним пришли, он отвел меня в сторону и сказал шепотом, поджимая босую, окоченевшую ногу:

– Там, в углу – дневник... так вы... того... продолжайте... Не так скучно, знаете...

Я заглянул ему в глаза. Как остро, как мучительно жадно хотели жить эти молодые, пытками затуманенные глаза, а за ними пришли. Тоненькая струйка судороги переливалась в крепко стиснутых скулах, шевелила запущенную, рыжеватую бородку. По грязному, черному от запекшейся крови уху – его страшно избили на допросе – ползла вошь...

Я кивнул головой, с бесконечной жалостью поцеловал его в высокий лоб, его увели. Увели туда, куда уводили всех обреченных – на широкий выгон у вокзала...

Дневник остался. Короткие, отрывистые фразы, нацарапанные мелким почерком на куске светло-лиловых обоев... Я не продолжал этого дневника – не мог, не хотел. Было больно думать о чем-нибудь в липком ужасе надвигавшегося конца, не хотелось касаться чужими, может быть, непонятными для него словами его светлой, мученической памяти...

Дневник остался нетронутым в темном, загаженном нечистотами углу (нас никуда не выпускали), но за долгие, томительные дни я выучил наизусть его страшные строки. Вот они:

23 нояб. 20 г. Мелитополь. – Перевели из предв. Есть не дают.

24 н. – Тоже.

25 ноябрь – четверть ф. хлеба и пять селедок. Почему пять? Воды нет.

26 – хлеба четверть, селедок сколько угодно. Воды не дают нарочно – сдыхай. Страшно мучусь.

27 нояб. Вчера вынесли двух, сегодня полков. сошел с ума. Кричал: еще селедочки, еще. Подумали, что притворяется и выпороли шопмолами, а он умер. У него трое детей в Киеве.

28-ХІ – Всю ночь шел снег. Холодно, но мы страшно обрад. Когда не видно часовых, сквозь разбитые окна собираем снег, лед, сосульки. Полную рубаху набрал в запас. Буду сосать.

29 – Был на допросе. Били. Вероятно, скоро расстр.

30 – Помяни его, Господи, ребенка Твоего Сергея, мальчика-дроздовца. Убили его сегодня в сарае ревтриб. Когда уходил, дал мне записку отцу на клочке газ. Взял, но разве я выйду отсюда, милый?

Перв. декабря – Опять шел снег. Днем ноги примерзают к полу, а ночью никто не спит – такая масса вшей. У многих образовались язвы.

2 – Каждый день новые и каждый день нет старых. Рассказывал Р., что в Симферополе пленных расстреливали на даче Крымтаева из пулеметов. Красноарм. в конце отказались, за ними стали возить бочки с вином. Разве так можно, Господи?

3 декабря – Капитан Данилов перерезал себе горло стеклом.

4 декабря – Привели сестру милос. (вранг.). Ужасно похожа на тетю Иру. Думал – тетя. Нет, гораздо моложе, но сходство удивит. Ее допрашивали и предлагали гнусные вещи, обещ. выпустить. Отказалась, плачет. И нечем помочь.

5. – С ужасом думаю: может и Олю где-нибудь... Не надо ничего.

6 декабря – Сегодня именинник. Снилось Волга и почему-то Оля верхом на верблюде. В этот день у нас бывало так шумно. Ночью пели на реке.

7. – Допрос, какую-то анкету давали заполнять. Солгал я, но должно быть, нескладно. Сказали, что послезавтра в расход. Издевательство.

8 декабря 1920 – Пробовал стеклом; ничего не вышло, только обрезался. Данилов, так тот – сразу, а мне не под силу. И потом страшно жить хочется. Думаешь все, думаешь. Скверно. Все такие чудесные дни вспоминаются. Как будто их и не было. Иногда даже кажется... Ничего мне не кажется... Ты помнишь, как ты в прошлом году потеряла в Ростове муфту? Глупая...

9 дек. 20 – Помяни мя, Господи. Пришли.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Пасхальный жених Из «Крымского альбома»

– Н-да, времячко, можно сказать. Бродишь по этому несчастному Крыму, как бездомный пес. Праздника даже негде встретить.

– Это верно, – милые наступили времена. Как говорилось в наших краях: жисть ты мотузяна и колы ж ты перерервышься!..

С сердцем швырнув изгрызанную папиросу в песок, смешанный с перламутровой массой мельчайших морских раковин, Рогов снова – в который раз? – обвел скучающими глазами тощий сквер, сбегавший к пристани однообразно-желтой дорогой.

Давно уже апрельские ночи медленно плыли над городом и тесной цепью гор; огромная скала – как вожак исполинского стада, идущего на водопой – купала в спокойных волнах черную свою голову. С моря веяло крепким, древним запахом рыболовных сетей и соли, с гор – горьким ароматом цветущего миндаля и прохладным, странно волновавшим Рогова светом апрельских звезд.

Разрывая полумглу, между чахлыми кипарисами изредка проходили люди. У некоторых из них в напряженно сжатых руках горели свечи, защищенные от ветра бумагой. Смеясь и подпрыгивая, прокатился по аллее белый шарик – маленькая девочка в пуховом пальто. Задевая за землю большим цветным фонарем, она кричала назад:

– Мама, сколей! Мама, уже в целькви колокольчик звонит!..

Рядом с Роговым, на широкой каменной скамье, сидел товарищ по полку Павловский, долговязый, рыжий вольноопределяющийся из семинаристов. На краю соседней скамьи темнела женская фигура. Контурные ног в светлых чулках рельефно выделялись на сером пузырьчатом камне. Уже с четверть часа незнакомка неподвижно и молчаливо смотрела в море.

– В церковь пойти, что ли, – сказал Павловский, сморкаясь в красный, выданный англичанами платок (смеялись в полку над этими платками долго и зло).

– Грустно мне, брат, до чертиков. Хоть бы какой ковер-самолет появился, унес бы на земли орловские – к папаше на разговены.

– Жди! – желчно рассмеялся Рогов и, помолчав немного, стал мечтать в свою очередь. – Был бы я в киевщине – и горя мало. Там у нас обычай есть хороший, каждая семья в пасхальную ночь приглашает к себе бездомного. Можно было просто постучаться в первую дверь. Так-то, мол, и так-то, – приютите. И что ты думаешь? Приютили бы, обязательно бы приютили. А здесь к кому постучишься? К татарью, что ли. А русский, беженский люд сам больше по чужим дворам бродит...

Семинарист встал, потягиваясь:

– Ясно, как бублик. Ну-с, я побреду.

– Тоже – по чужим?

– А ну их! Загляну в церковь, а оттуда – в наши бараки, на боковую.

Павловский ушел, грузно передвигая ноги в тяжелых сапогах. Когда умолк мерный шорох шагов, с соседней скамьи звонким, чуть лукавым голосом спросили:

– Вы киевлянин?

Неожиданность вопроса смутила Рогова:

– Собственно говоря, я не из самого города, я из губернии...

– Это все равно, я тоже киевлянка. Хотите постучаться в нашу дверь? Мы древние обычаи помним.

– Спасибо большое, но...

На скамье засмеялись.

– Никаких «но». Вы мне, землячке, бросили вызов, и я отвечаю. Дисциплина прежде всего, а потому – шагом марш! Прошу не забывать, вольноопределяющийся, что я – дочь генерала и, следовательно, нечто вроде вашего прямого начальства.

– Слушаюсь, ваше превосходительство. Однако, как на мое вторжение посмотрит генерал?

– Генерал сейчас еще на Кубани, а пойдем мы с вами к моей тетке, у которой я живу.

Тетка же посмотрит только моими глазами.

– А разрешите узнать: какого они цвета? – сказал Рогов, удивленный несколько своей храбростью (очень уж остро пылали апрельские звезды).

– Темно-карие, как у шевченковской Катерины. Удовлетворительно?

Лихо – как ему показалось – вольноопределяющийся щелкнул шпорами.

– Весьма. Но еще один вопрос... – он подошел, уже менее лихо, к соседней скамье. – Еще вопрос: как вы отрекомендуете вашим родным столь неожиданного гостя? Одного обычая тут, пожалуй, будет мало?

Вставая, незнакомка попала в полосу света. Под белой шляпой приветливо улыбнулось хорошенькое розовое лицо.

– Очень просто: как своего жениха. Я давно шутя уверяла тетку, что у меня есть жених. Уж ради одной оригинальности таких разговен – вы, конечно, согласитесь. Домишко наш близко, два шага.

Девушка неторопливо пошла по скрипящим раковинам. Рогов следовал за ней, все еще не придя в себя в достаточной мере.

Как все-таки это странно... – говорил впереди звонко-лукавый голос. – В церкви было душно, я вышла подышать морем. И вдруг – земляк, да еще бездомный. Да еще, оказывается, – мой жених, ха-ха... Вольноопределяющийся, шагайте быстрее. Заутреня скоро кончится. Хоть вы и наш будущий родственник, но все же неловко заставлять себя ждать.

Пройдя сквер, площадь с каким-то грузным памятником, пройдя огромную, темную теперь, витрину с маленькими флажками на карте перекопского фронта, неожиданная невеста Рогова вошла в подъезд небольшого, с плоской крышей дома. Дикий виноград покрывал его зеленой муфтой. Окна были освещены. («Тетка уже дома...» – подумал неожиданный жених.)

В передней, заставленной чемоданами, корзинами и мешками с мукой, вошедших встретила маленькая, круглая женщина с черной бородавкой на левой щеке. От нее вкусно несло куличами и гиацинтами.

Девушка громко поцеловала бородавку.

– Тетичка, вот и я. Помнишь, я говорила тебе о своем женихе. Вы все не верили с дядей. Так вот вам, полюбуйтесь – мой суженый. Ему негде разговеться. Не выгонишь?

Круглая женщина ответила почти басом:

– Уж ты без глупостей не можешь. Милости просим, конечно. Чем богаты, тем и рады. Вешалка вот здесь, за зеркалом. Вы какого полка?

– Ахтырского гусарского.

Бородавка комично запрыгала.

– Вот оно что-о-о! Недаром Наталка («Значит, мою невесту зовут Натальей...» – подумал Рогов) все о гусарах болтала. Драгуны, говорит, пакость, уланы, говорит, тоже, а гусары...

– Ей-богу же, тетичка, я этого не говорила, – сказала, краснея, Наталка, входя в столовую.

Взглядом знатока Рогов бегло осмотрел пасхальный стол и остался им доволен. Несмотря на беженские дни, тетя с бородавкой и пышных кулечей напекла, и молочного поросенка артистически подрумянила, и пасху сырную изюмом изукрасила. Недавним детством, родными краями повеяло от малороссийской колбасы, польских баб.

Из-за куличей показалась лысая, румяная, как поросенок, голова с падающими вниз казацкими усами. Усы зашевелились, проскрипел надтреснутый, добродушный говорок:

– А я, признаться, проголодался, тайком от супружницы колбаску вилкой ковырнул. Садитесь, молодой человек. Впрочем, Наталка, представь же меня будущему племяннику... – он поднялся со стула и поклонился:

– Прошу любить и жаловать: Никита Федорович Гончаренко, бывший помещик и слуга отечеству, а ныне – недорезанный буржуй.

Смущенно щуря темные, похожие на сливы глаза, девушка засуетилась:

– Ах, да! Вот – мой дядя, дядя Ника, а это – жених мой... – на минуту Наталка замолкла, но, притворно кашлянув в маленький кулачек, добавила решительно, – мой жених, Евгений Николаевич.

Звали Рогова Павлом Петровичем. Он растерянно стал теребить пуговицу френча. К счастью, жест этот остался незамеченным: дядя Ника расставлял приборы, снимал с подоконника бутылки, мурлыкая вполголоса:

– Да, согрешил я, милые мои, оскоромился преждевременно.

Когда в столовую вошла хозяйка, бывший помещик заявил торжественно:

– Теперь поздравим друг друга с великим праздником. Христос Воскресе, милые.

Он троекратно поцеловал жену, племянницу, кольнул щеку Рогова казацкими усами. Наталка звучно приложилась к теткиной бородавке, поцеловала дядю и подошла к вольноопределяющимся, тяжело и взволнованно дыша. У Рогова даже уши залил густой, детский румянец. Для чего-то переставляя стулья, девушка, наконец, сказала:

– Я с Женей уже христовалась в церкви, дядя.

Седые усы опять запрыгали:

– Что-с? Это непорядок, Наталка, и даже грех. Как старый сердцевед, чую, что неоднократно и многократно вы уже целовались, так сказать, под луной. Простите, молодой человек, но вы не были бы гусаром, ежели бы не воспользовались сим правом жениха. Скажите: целовались под луной?

– Да..– глотая слова, сказал Рогов. – Неоднократно.

– И после этого ты, Наталка, не хочешь похристоваться? Ну?

Розовая рука легла на зеленое сукно френча.

– Христос Воскресе, милый...

Этот «милый» и теплота влажных, полуоткрытых губ легким вином наполнили сердце Рогова. Он не сразу опустил руку, с дрожью упавшую на плечо девушки. Дядя захохотал:

– Вы, молодой человек, далеко пойдете... Ну-с, приступим.

Разговены прошли ласково и весело. Кто-то («А, может быть, это любовь?» – думал безусый гусар...) сбросил тяжесть междоусобных лет с этих плеч, молодых и старых. Дядя Ника, отдав должное красному вину («Молодой человек, обратите внимание: старорежимное, удельное...»), красочно вспоминал пасхальные ночи, обряды и обычаи родной киевщины. Текли по черной бородавке обильные слезы. Все темнее, прекрасней и ближе мерцали крупные сливы Наталкиных глаз.

Уже лилось в окна сиреневое молоко рассвета, когда Рогов уходил из белого домика в виноградной муфте. Наталка вышла с ним в переднюю. Дрогнула ее протянутая рука. Кружилась у гусара голова – не то от вина, не то...

– Прощайте... – сказала девушка, все еще не отпуская руки, – прощайте, пасхальный жених. Странно, целовались мы, а я даже имени вашего не знаю...

Рогов уронил фуражку, поднял ее, сказал, не узнавая своего голоса:

– Разве это надо? Разве важно? Наташа, только в мае мы уйдем на фронт. И я хотел... хотел спросить, просить вас, чтобы – не «прощайте», а – «до завтра». Наташа, скажите, можно мне считать...

– Как все-таки странно все это... (В сливах рассыпались звезды.)

– Да, странно... Наташа, можно считать все, что было – настоящим? невесту не только пасхальной? Чтобы все это повторилось, там – под луной?..

Через пять минут шел по пустынной улице вольноопределяющийся Рогов, чувствуя неотлетевшую еще теплоту влажных губ, уронивших так просто и неожиданно это звездное слово – «люблю». Все смеялось в это раннее феодосийское утро: и сердце гусара, и близкий гул моря, и трехцветные флажки на карте в огромной витрине. И казалось Рогову, что флажки эти не угрожающе жмутся к перекопу, а широким веером хлынули вперед, заливая родную киевщину, Москву, всю Россию...

Портрет Генералу Врангелю

На стене, где днем солнечные зайчики прыгают, а ночью зелено-лиловой кистью пишет светлый мальчик – лунный луч – изумительные картины, – пусто. С угла до угла протянулся широкий квадрат обоев, сморщившихся, усыпанных темными пятнами сырости и плесени. Ни ковра, ни изогнутых спинок кресел, ни глубоких мягких диванов. Пусто. Только, разве четко видны на ней, на стене отсыревшей, набросок галлиполийского кладбища, блеклый вольноперский шнурок да Ваш портрет.

Устану за день – нехорошо теперь жить, Господи! – подойду к стене, смотрю. Дроздовец, опираясь на винтовку, с непокрытой головой, стоит у конусообразного памятника. Набросок маленький, в три-четверти вершка, с подписью художника: В.Зелинский, галлиполиец. Шнурок выцветший, как стебель сухого цветка, чуть колышется на ветру – сквозняк у меня вечно. А Вы смотрите ласково и строго.

Этот желтый лист с Вашим лицом я вырезал из журнала немецкого – «Die Woche». Была внизу надпись: «Der Hartknakiger. Feind von Lenin, – General Wrangel», таким кудрявым готическим шрифтом, с завитушками. Завитушки я отрезал – разве и так не знаю, что большего врага, чем Вы, у Ленина не было? – потом желтый лист с Вашим портретом, осторожно, посмотрев кругом, спрятал в кармане. Осторожно потому, что – простите меня! – портрет Ваш я украл в русской библиотеке, порывшись в грудe старых журналов. Нехорошо это очень и стыдно. Но, только что вырвавшись из красного плена, так хотелось увидеть Ваше лицо, а нигде достать не мог. И потом все равно через месяц библиотека эта закрылась, книги ее и журналы продавались с пуда на рынке и заворачивали в них сельди.

Вы в кавказской бурке, в папахе. Бледное лицо Ваше слегка затушевано тенью с левой стороны. А глаза строго улыбаются. Мне всегда казалось странным и милым это сочетание: суровость и ласковость. В «Die Woche» особенность Ваших глаз, Ваших губ передана так выпукло. Может быть, потому я и совершил кражу.

Каблуков Ваших сапог не видно, и это жаль. Мне дороги как-то и памятливы эти каблуки. В первые дни крымского наступления, когда могучей радостной лавой мы рвались вперед, Вы, где-то у Днепра, посетили нашу девизию.

Господа офицеры, вперед! – громко крикнули Вы после смотра. Эхо Вашего голоса гулко отдалось в степи. Я не понимаю, почему на Ваш зов ринулась вся дивизия – с офицерскими звездочками, со шнурками вольноопределяющихся, с гладкими погонами рядовых. Всем хотелось быть ближе к Вам, окружить Вас тесным кольцом. Я бежал с другими и думал: это нарушение дисциплины, главнокомандующий цукнет нас. Но Главнокомандующий понял, что за любовь не наказывают. Главнокомандующий не цукнул. Вы долго говорили с дивизией о задачах наших, о нуждах, об отношении к населению. Я стоял в десяти шагах от Вас. На Вас была та же бурка, та же папаха, те же сапоги, старые, с истертыми каблуками. На одном из них – кажется, левом – виднелась огромная латка из бурой кожи. И вот с той минуты я не переставал думать о ней, о заплате на сапоге главнокомандующего. Когда теперь социалистическая грязь пытается очернить Ваше имя, Вашу честность, равной

которой не знаю в наше подлое время, когда Керенские справа гнусавят о «бесконтрольном расходовании казенных сумм в Крыму», мне хочется крикнуть:

– Лжете! Сам генерал Врангель носил латаные сапоги.

Из мелочей, из маленьких кусочков жизни сложился в моей душе Ваш хороший, Ваш такой любимый портрет. В конце безумного 1919 года я встретил Вас в Новороссийске. Тогда Вы были, кажется, в отставке, жили в вагоне у моря. Из-за угла Серебряковской вышел я на узкий, дырявый тротуар, сбегавший вниз, к набережной. Навстречу мне быстро шел офицер. Моложавое лицо, статная фигура. Что-то знакомое показалось мне во всей этой фигуре. Но – сознаюсь – чести я не думал отдавать. Была тогда у нас такая мода: козырять только старым, заслуженным генералам. А Вы показались мне издали ротмистром, подполковником. Нарочно повернув голову в противоположную сторону, я, с папиросой в зубах, прошел мимо.

– Вольноопределяющийся, пожалуйте сюда!

Я круто повернул назад. Генеральская шинель, генеральские погоны.

– Вы это почему чести не изволите отдавать, а?

– Виноват, ваше превосходительство, не заметил! – солгал я.

– Неправда, Вы прекрасно видели меня и с целью смотрели в противоположную сторону.

В какой армии служите?

Я несколько смутился.

– В белой, ваше превосходительство.

– Не может быть. Вы подумайте хорошенько, может быть, вы в красной армии служите?

– Никак нет, ваше превосходительство...

– По-моему, вы красный. Только там чести не отдают. Стыдитесь! Ступайте...

Почувствовали ли Вы тогда, что никакой военный суд, никакое многочасовое стояние под шашкой не залили бы мое лицо такой краской, как Ваше краткое «стыдитесь»!

Потом, в Крыму, в разгар наших успехов, Вы приехали в наш полк. Двойной нитью выстроились Ахтырские гусары, Стародубские драгуны, Белгородские уланы – поэскадронно, в пешем строю. На крайнем правом фланге стоял я, впиваясь в Вашу фигуру, появившуюся из-за деревьев.

– Смирно! Господа офицеры!

Вы быстро подошли к нам, на несколько секунд задержались у правого фланга, в трех шагах от меня, сказали громко и отчетливо:

– Здорово, орлы!

– Здравия... жела... ваш... дит... ство!

Я долго не мог понять, как я заставил себя не выйти из рядов вперед, не подойти к Вам, не сказать Вам сквозь слезы:

– Ваше превосходительство, позвольте сказать Вам, как я счастлив видеть Вас. Есть в Вас, ваше превосходительство, что-то большее, чем глава армии. Есть в Вас, там, за сталью суровых глаз большая, славная нежность и большая любовь. К России ли любовь, к нам ли, всегда готовым умереть за нее, – я не знаю, но, вот, хочется сказать мне Вам что-то очень нужное, очень светлое, такое, чтобы вопреки всем воинским уставам и дисциплинам, все уланы, все драгуны, все гусары, все те, кто окован красным кольцом, понесли бы Вас на руках вперед, за Днепр, к Москве, понесли бы Вас как знамя, туда, где в крови и дыме рождается Россия!

Так хотелось выйти из фронта, крепко, до боли крепко пожать Вашу руку, как жмут руку большому, верному, единственному другу. И опять-таки не страх перед наказанием удержал меня – Вы, знаю, поняли бы, Вы, знаю, простили бы – а мысль, что, может быть, как тогда, в Новороссийске, пряча улыбку в глубине прозрачных глаз, Вы скажете:

– Вольноопределяющийся, только в красной армии солдаты выходят из строя. Стыдитесь!

И стало бы до боли стыдно.

Потом – эвакуация, лазарет в Джанкое, плен у красных. Потом долгие подвалы чрезвычайных комиссий. Потом пестрые плакаты, приносимые в застенки для вразумления пленных:

– Наемник парижской биржи – Врангель, черный барон, кровавый слуга капиталистов, враг рабочих и крестьян...

А в Севастополе, когда в жуть и темень бездомья уходили Вы с орлами Вашими, рабочие плакали. А в северной Таврии крестьяне и теперь говорят: петлюровцы грабили, махновцы грабили, деникинцы, случалось, тоже грабили, красные грабят, а вот только врангелевцы никогда не грабили и землю хотели дать. А в Мелитополе еще целый год после Вашего ухода Вас ждали жадно, нетерпеливо, о Вас молились.

Смотрел на убогие плакаты и смешно было. Ваше, такое знакомое, такое близкое лицо, изуродованное карикатурой – как странно это! – светилось прежней ласковостью. Хотелось любовно погладить советский лубок и сказать Вам, как говорят только матери, только невесте:

– Ваше превосходительство, это ничего. Пусть бьют, пусть расстреливают, мы знаем Вас, мы не поверим. Вы совсем близкий, совсем родной. Ваше превосходительство, если и я, полуубитый, упаду в общую могилу, знайте, что так любить Россию и гибнуть за нее научили меня Вы.

Бог спас меня. Видно, вымолила мне жизнь у Господа мать, отдавшая ему четырех сынов.

Теперь – мутный квадрат стены, Галлиполи, шнурок и Вы. Не знаю, дойдут ли к Вам эти несвязные строки, этот портрет Ваш – мозаика, сложенная из маленьких, из пестрых кусочков былого. Но вы не скажете, ваше превосходительство: «стыдитесь»! Вы поймете, что крепко храню в памяти эти кусочки, берегу хорошую память о Вас потому, что с Вами связан гордый и чистый год последней святой борьбы с теми, кого да проклянет Господь самым черным проклятием! Знаю – не осудите Вы и поймете, что это, может быть, немножко смешно, но не стыдно, если я сейчас подойду к Вашему портрету – желтому листу из «Die Woche» – и, став во фронт, скажу Вам, вождю моему:

– Ваше превосходительство, если России нужна будет моя жизнь, я отдам ее по первому Вашему зову!

Ромашки

У нее такое странное имя – Айя. Пахнет оно чем-то страшно южным, горячими листьями пальм, душистой пеной у берегов Таити, талантливым бредом Пьера Лоти.

А сама она – сероглазая фрекен в причудливом чепчике больничной сестры. Взгляд такой прозрачный, совсем северный, чуть-чуть темнеющий к вечеру. Говорит быстро, смешно наклоня голову на бок. Смеется негромким колокольчиком.

Целый день суетится она в палате; мы все следим за ней и нам радостно – молодым и старым. Даже вон тот угрюмый, весь залитый желчью старик, что медленно угасает в углу, улыбается почти ласково, когда над ним взлетают розовые руки Айи, поправляя подушки или одеяло.

Я здесь недавно, и мне чуждо. С утра лежу на веранде, заставленной цветами. Их так много – ромашки, левкои, какие-то местные финские цветы с голубо-сиреневой головкой и длинными листьями, похожими на лапы ошетилившегося кота. Вижу широкий двор, весь в сочной траве, черные лысины скал, за скалами – зеленую поляну моря, исписанную белыми четочками пены. Соленый воздух ходит между колоннами, треплет ромашки, колышит занавески окон.

Мне чуждо. Перелистываю журнал на непонятном языке, вслушиваюсь в прыгающий придушенный говор за дверью, стараюсь понять непонятную, спокойную, не нашу жизнь...

Входит Айя с кувшином. Каждое утро и вечер она поливает цветы, любовно разглядывает их, не распустился ли новый? И вот в это время мы разговариваем. Я не знаю ни финского, ни шведского; ее кто-то выучил по-русски романс – «гай да тройка!», который она и поет в свободные минуты, безбожно перевирая слова, но у обоих нас есть небольшой запас немецких фраз.

Айя рассматривает кошачью лапу сиреневого цветка и спрашивает:

– У вас есть ромашки?

(Она всегда спрашивает о России, Россия ее страшно интересует. – Я не понимаю, – сказала она мне вчера, – удивительно, как можно любить страну, где люди такие злые?...))

– Есть, отвечаю я.

– Такие же белые и с золотыми сердечками?

– Да, с золотыми сердечками...

Айя недоверчиво качает головой и уходит в палату. Через несколько минут она возвращается с наполненным снова кувшином и наклоняется над рядом горшков с ромашками.

– У вас есть невеста?

Вопрос так неожидан, и глаза Айи так строго смотрят на меня, что я роняю журнал на пол.

– Была...

– Почему – была? Удивляется фрекен, и я чувствую как с ярких губ готов сорваться чуть-чуть лукавый, девичий упрек в неверности.

– Была, потому что ее, может быть... съели. На юге России такой голод, – говорю я, и шутка моя звучит так жестоко.

Айя сочувственно вздыхает.

– Покажите мне ее фотографию. Она хорошенькая? Ваши девушки все такие... как это сказать по-немецки... тощие...

– У меня нет фотографии...

– Нет? Странно... ну, прядь волос. Это всегда так делается.

– И волос нет. Ничего нет, – отвечаю я грустно. – Я даже не знаю, где она сейчас, жива ли. Такая буря разбросала нас во все стороны...

Айя садится рядом со мной на скамью. Мне кажется, что в ее серых глазах вот-вот сверкнут слезы – чуткая сердечность говорит в каждом ее жесте.

– И ничего на память не осталось?

– Ромашка осталась... – невольно заражаясь сентиментальной грустью ее глаз, отвечаю я...

– Какая ромашка? – перебивает меня Айя.

– Сухая... белая с золотым сердечком..

– Фрекен... – зовет кто-то в палате.

Айя быстро срывается с места, хватая кувшин и идет к двери, говоря скороговоркой:

– Какие вы все сухие, тощие... как ромашка... И Россия ваша – ромашка, вся высохла. И вы сами, и невеста ваша, и все русские – ромашки сухие, больше ничего.

Опять сижу один на большой веранде. Смотрю на седую, почему-то такую неприятную голову Ллойд-Джоржа в прошлогоднем журнале и думаю: как много неожиданной правды в простых словах простой девушки! Сухие ромашки мы... Россия – вся высохла... Жалкие, никому не нужные цветы... Мы – для гербария, для странной и страшной коллекции: цветы с высохших полей... Люди без Родины... А соленый ветер ходит между колоннами, треплет занавески, шепчет в уши нежно: уже недолго... недолго... Может быть, год, может быть, месяц... На безграничной поляне России гуще, сильнее и ярче прежнего зацветут ромашки... Белые-белые... С золотыми, гневными, прозревшими сердцами... Уже недолго.

Балда Рассказ «сознательного» пролетария

I

Клепал, клепал я эту маринованную голову и – хоть бы што! Никакого понятия. Уперся, как баран тот, сосет все сигарку, слушает, быдто, а потом и брякнет:

– А Бог? А Бог-то как?

– Да никак, говорю, – плюнь и разотри. Ежели не понятно – еще раз плюнь.

А он обратно про Бога то-исть. Истомил меня, балда. Кабы не свойский парень, не друг – приятель сызмальства – давно бросил бы с ним разговоры разговаривать, язык трепать насчет религии этой самой. Только смотришь – ни за что гибнет человек, совсем закручен буржуазным моралем. Бессознательный был к тому же очевидно. Ну, понятно, жалко.

Вот и говорю ему как-то: ты, Митька, сбей с себя блажь эту, потому – не поведет она ни к чему, акромья того, што свихнешься с разуму. Опомнишься, брат, да поздно будет. Ты, говорю, примерно сказать – рабочий класс, а рассуждение имеешь, как эксплуататор или тот же поп. Вот послушай, что я выражу тебе с самой што ни на есть научной точки зрения, а потом и шпарь свою революцию, хрен с тобой.

– Послушаем, слушаем, – говорит. Да таким, подлец, голосом, что, мол, бреши, бреши – знаем мы вас.

Ну, и начал я ему, и так это у меня складно вышло, как, примерно сказать, проповедь или митинг там первейший. Жил, говорю, был, на свете один мудрец – не тебе, неучу, чета – Дарвиным прозывался. Был он партийным или нет – доподлинно не знаю, только сознательности чрезвычайной и в рассуждениях своих до точки дошел. Так тот учил, что никаких таких Богов, Христов и Матерев Божьих отродясь не было, а кажинный человек, и баба тоже, от обезьяны превзошел. А ты – Адам, Адам, балда! Немного сумнительно: из чего же обезьяна превзошла? Ан и тут у его соответственный параграф имеется: а обезьяна превзошла от еще меньшей животной – крысы, например, крыса – от мухи там какой, муха – от микробы воздушной. А он как прыснет, Митька-то.

– Чего, говорю, ржешь, дуралей?

– А микроба?

– Что – микроба?

– А микроба, – спрашивает, – из чего превзошла?

– А микроба, – объясняю, – вечно, испокон веков плавала в воздухе, кислород, – говорю, – земное притяжение.

– Бреешь, – кричит, – сукин сын! Микроба от другой животной превзойти не могла – махонькая она оченно. В отношении того, что вечно, тоже бреешь, потому как всякая тварь свое рождение и конец имеет. Значит – Бог. Засыпался Дарвинов твой, должно, от митингов. Да и ты, – смеется, – хошь и партийный, коммунист, а тоже в тебе чердак лопнувши.

Очень обидно мне стало от этих самых слов – партии я был приверженный и всегда мне такое непонимание моментов в груди ударяло. Но – ничего, виду не подаю, спокойненько так вынимаю с кармана книжонку Госиздата «Кто и зачем выдумал бога?». Такая понятная была книжонка, што дите малое и то сразу в разумение войдет. К тому же буква была большая, четкая, а на обложке поп с плеткой, заместно кадила, изображен.

– На, – говорю, – прочитай, благодарить будешь.

Так што-ж вы думали? Повертел, повертел книжонку-то, перевернул два-три листка, послунил да и бросил на стол. Тут уже взорвало меня, будто порохом.

– Ты чего, – кричу, – бесишься? Чего книжку-то бросил?

– Не надлежит мне, – говорит, – книжков таких читать.

– Почему не надлежит?

– А потому не надлежит, – отвечает Митька, – то, что Бог на ей, на книжке, значит, с

маленькой буквы напечатан.

– На кой черт, – говорю, – с заглавной буквы печатать, коли и Бога твоего нету?

– Ну, – говорит, – есть ли Бог или нету – так это я сам знаю и ты против этого не моги говорить, потому как теперь свобода веры, да только как же так: меня, возьмем, или тебя или собаку там первую, скажем – Жучку, с заглавной буквы писать, а Бога – с маленькой?

Плюнул я тогда на него.

– Бессознательный ты, – говорю, – Митька и есть. Божественный, – говорю, – и безнадежный элемент. И, вспомни мое слово, пропадешь задаром, ни за что сгинешь!

Балда!

II

В скорости расстался я с Митькой. Ушел с квартиры, где работали. Порешил я по торговой части пуститься – с детства большую склонность к этому имел. Сперва по кооперативам околачивался, за одно с другими товарищами из комячейки нашей фабричной. Не нравилось мне там – все общественное и общественное, а твой интерес – в стороне. Никакого, скажем, тебе размаху нету, так – переливание с пустого в порожнее.

Одначе протрадал я в кооперативе што-то больше году, руку свою по разным торговым коммерциям набил здорово и ушел оттедова, благо тут свобода частному капиталу вышла. Начал по хозяевам служить, в продуктах питания больше.

Оно точно. Хошь и не кооператив дурацкий, а магазинчик настоящий, частный, а все – не твой собственный: хозяйский глаз так и ловит тебя, так и ловит, подлец. Одно могу сказать: честный я был до удивительности, сознательности содержал себя, партийный к тому же и на счет разных там махинаций с хозяйским добром – ни-ни.

Говорит, мне, правда, купец один, хозяин продуктов:

– Воруешь, должно, малый, во всю: што ни месяц – костюм на тебе новый!

Да только я таких обидных слов на веру не брал: пусть болтает, думаю, – классовое непонятие и бессознательность на буржуазной платформе!

Прошло это месяцев так шесть или восемь, глядь – оборот собственный составил. Смотришь – там процентик, там недовес, там удача какая, – а капитал все растет, нарастает. Оно правда, капитал – дрянь, широко с ним не размахнешься, а все ж – приятно, потому земля у тебя под ногами, а не программы там разные мужицкие. Видно, пора собственные продукты питания заводить, да одному не под силу – денегат маловато. Один критический выход из положения – жениться.

Когда я еще на одной квартире с Митькой жил, была там у меня девка одна, наша, фабричная. Помню, возился я с ней долго, даже жениться обещал. Только из соображении капитала, чтобы, значит, магазинчик соорудить совместно, неподходящая она была статья: дура первейшая и акромья юбки – ничего.

Начал я тут искать среди своих, лабазников и продукщиков разных. Можно сказать, всю душу выворотил искательством этим самым, мысли такие в голове ходят: с одной стороны, вроде, соглашение с мелко-буржуазным стихием получается, а с другой – должен я или не должен торговле способствовать, разруху государственную изничтожать, ежели товарищ Ленин торговать приказал?

Повезло мне у купчишки одного – на Сенном рыбой занимался, – нашлась дочка завалыщая. Годов ей так под тридцать и морда такая, что в три дня газетами не обклеешь, а финанс – в самый раз: пять тысяч и все золотом, акромья благородной обстановки. Как узнала, что нашелся такой предмет – руками и ногами за меня ухватилась, с нашим превеликим удовольствием: я не то што мужик там какой необразованный, а человек торговый, сознательный, в комячейке завода товарищам своим господина графа Толстого в подлиннике читал, да и лицом пригож.

Дело обкрутили быстро. Венчание было как в первых домах: хор архиерейский, на дамочках - все шелк да атлас старорежимный, приятными помадами так и прет, свечей чертова уйма, шафер невестин – настоящий князь. На душе – умилительно так. Еще помню отец Василий – седенькие такие – спрашивали:

– Не обещался ли кому?

– Нет, – говорю, – батюшка, не обещался! – Потому, ежели и была девка та, то какая ты невеста, коли приданного нету?

Повенчали это нас, проздравляют все. Князь даже руку жене моей поцеловал – условие такое было. Глядь – Митька. Такой, как и был, обшарпанный, только, будто похудевши малость и бородой зарос. Тоже, шпана, подходит, проздравляет. А я стою, как куман, – еще подумают, што сродственник какой!

– С законным браком, – говорит, – только как же насчет обезьянов?

– Каких таких обезьянов, – спрашиваю. – Ты што, пьянь, што ли?

– А таких, – говорит, – што от мухи превзошли. Дарвинов там еще, микроба...

– Пошел вон! – кричу, – у людей такой высокаторжественный день, а ты ругаться сюда? Храм Божий микробой своей осквернять? Пошел вон, сволочь!

А он как задрожит весь – вот балда!

– А, – кричит, – теперь и храм Божий нашелся для тебя и осквернять! А тогда и Бога не было, и бессознательный я, и книжки всякие непотребные!

И – ну на меня с кулаками лезть.

– Обманщик ты, – кричит, – и есть! Честных людей обмануешь и вот супругу свою, не знаю, говорит, имени-отчества. Прохвост, – кричит. – И партия твоя вся такая. Только штобы, – кричит, – шкуру с нас драть, да в карман свой, в карман побольше! Погибели, – кричит, – на вас нету!

Помутилось все в глазах у меня от обиды. Стою сам не свой, што делать – ума не приложу: то ли бежать прямо с церкви и заявить кому следует, што вот, мол, нашелся такой контрреволюционный элемент, по городу бегает и Бога распространяет, то ли при всех загнуть ему в морду да так, штобы всю жизнь помнил, стерва.

А потом подумал, подумал да и простил его, а князю объяснил, что Митька этот самый – сумасшедший, с больницы Николая Чудотворца сбежал намедни.

Да и как было не простить? Человек он бессознательный, на антирелигиозных фронтах не был, не понимает – што к чему, и не виноват, что Господь Бог его разума лишил.

Балда!

Лафа

На большом листе бумаги с вылинявшей печатью в левом углу – «Железная торговля Перцова С- вей» – уже целый час Макуха рисовал комитетскую кобылу – рыхлую, с обрезанным хвостом.

Толстый нос в веснушках усиленно пыхтел, изгрызанный карандаш крутился в вспотевших пальцах, а дело все не клеилось – вместо кобылы почему-то вышел пупырчатый огурец на четырех палках с копытами.

В полуоткрытое окно плыла июньская духота; разбросанные по подоконнику и столам бумаги, хлеб и бурые кружки колбасы покрылись пылью. Надо было встать и захлопнуть окно, но огурец внезапно превратился в селедку, совсем уже на кобылу не похожую, и это злило.

– Паша, закройте викно! Увесь доклад губкому засыпало.

Паша перевернула страничку засаленного «Огонька» и зевнула.

– Ленъ...

Рука ее свесилась на ручку глубокого кресла, оголив полное, розовое плечо. Паша знала, что у нее красивые плечи – у самой шеи еще такая аппетитная родинка – и часто повторяла этот жест, незаметно дергая книзу рукава блузки.

Макуха с сердцем перечеркнул селедку и направился к окну, стуча желтыми сапогами.

– И ныколе вы не сробите того, що нужно. Як есть, бабское безделие. На кой бис вы тут торчьте, спрашивается? За для ударного пайку?

Сказано это было совсем не злобно. Секретарь укомпарта Макуха всегда так говорил с персонами бабьего полу – с грубой сердечностью: их сестра все одно сурьезных замечаний не понимает, потому и держим.

Женщина закурила папироску, зажав ее всеми пятью пальцами.

– Не, не для пайка. А так... Кокотистая я. Вот и околачиваюсь тут.

Товарищ Иосиф, чистивший ботинки под огромным, засиженным мухами портретом Карла Маркса, поднял свою птичью голову с оттопыренными ушами и бросил в угол щетку.

– Вот кого бы я выдрал, – сказал он, доставая из-под пишушей машинки замасленную суконку – так это дуру эту Наташку. Юбчонку поднял бы и – бац, бац! И солью присыпал бы!

– Дрянъ дивка! – согласился Макуха. – не того, що шлюха – шлюх я сам очень обожаю, занятные они, шлюхи – а на кой бис вона словечки то ци иностранни пуцае? Мамзель яка, подумашь!

– Во-во, – сказал товарищ Иосиф и сел к столу – нужно, не нужно – все равно. И других учит. Вот вы... Знаете, например, что это значит – кокотка эта самая?

Паша обиженно повела бровью.

– Я четыре класса гимназии кончила и за дьякона замуж чуть не вышла, а вы такие вопросы. Слава те Господи, и не таких еще слов хваталась! Почта пришла уже?

Блузка сползла до самого локтя, открыв все правое плечо и часть полной розовой груди. Макуха подошел сзади и защекотал спину.

– Бро-о-ось, Федька! – лениво протянула Паша, наклоняя голову к коленям. Ну скажите ему, товарищ Иосиф! Фе-едька!

– А мне таки все равно, пусть упражняется, – засмеялся товарищ Иосиф. – Любитель я смотреть, как сестру вашу щупают.

– Ма-а-ма... – дурашливо заплакала Паша. – Ступай за почтой лучше. Лифчик порвешь, дурак! Может, журнал какой с картинками есть или письмо от Степана.

– Добре, иду.

Когда за Макухой закрылась исписанная до потолка дверь, Паша поправила волосы и вздохнула.

– Товарищ Иосиф...

– Ну!

– Это...

– Что?

– Откройте тут заведение...

– Заведение? Какое?

– А такое, чтобы мадам была и девочки. Ну, и музыка, понятно.

– Публичный дом, значит?

– Мг...

– Это... здорово! Зачем он вам, Паша?

– Скучно так. А то, будут номера, а на каждом номере – фотография. И гостей сколько. Ужас! Каждую ночь новый! Ей-богу, устройте! Я для вас всегда бесплатно...

Председатель укомпарта улыбнулся, показывая гнилые зубы.

– Опять Наташкины штуки. Вот потаскуха еще.

– Нет, не Наташкины штуки. Я сама выдумала. От скуки чего только не лезет в голову. Прямо хоть вешайся.

– А как губерния на это посмотрит, а? Захлопнут эту лавочку быстро.

Паша топнула ногой в белой туфле.

– Плевала я на губернию! Тоже, подумаешь! Пускай и губерния ко мне приезжает. Мне то что – выдержу!

У товарища Иосифа запрыгали губы.

– Нет, ты прямо молодец, Пашка! Прямо – цимес! Послушай, Федя...

Макуха шел к столу с пачкой газет подмышкой и вскрывал острием кортика большой синий конверт.

– Ну?

– Послушай, что она тут предлагает...

– А ну ее! Пысулька от Степана. Агромадная.

Степан – помошник председателя – месяца полтора тому назад повез голодающим Поволжья подарок ...ского уезда – три вагона пшеницы, реквизируемой у кулаков. Был он веселый, разбитной парень, страшный бабник, писал ловкие корреспонденции в столичные газеты и в его партийном билете под фамилией значилось: «пролетарский писатель». Письма свои, как и газетные заметки, уснащал балагурством, подчас непечатным, и потому в укомпарте их всегда читали вслух.

Товарищ Иосиф вытащил из конверта три аккуратно сложенных листа писчей бумаги, пахнувшей какой-то мазью, и одел очки, от чего лицо его, узкое внизу и широкое у желтых, впавших висков, стало еще больше похожим на птичью голову с крючковатым носом и круглыми глазами.

Паша закинула ногу на ногу и приготовилась слушать. Губы, яркие от природы да еще натертые утром красной обложкой папки с надписью «Переписка с центром», так деловито сжались, что Макуха не выдержал, захохотал и, изогнувшись, щелкнул ее по ноге в том месте, где белый чулок стягивала потрепанная красная подвязка.

– Дывься, яка серьезна!

– Не мешай, Федька! – капризно пропела Паша, отодвигаясь. – Что за неприличность!

Товарищ Иосиф ударил по столу кулаком.

– Я читаю.

Макуха откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

– Жарь.

«Дорогие товарищи! – писал Степан размашистым, писарским почерком. – В прошлом разе я описал вам поездку свою и все мои мытарства по станциям распроклятым, чтоб им на том свете ни дна, ни покрышки. А теперь я, следовательно, уже в Казани. Я все думал, что балбесина эта Сошко сбежит с поезду и деньгу за собой потащит, но он пока еще со мной, только каждый день – вдрызг налилавшись, стерва. Потому везде хлеб на самогон обменивает, прямо пудами. Казань город большой и электрофикации много, а народности здорово поубавилось, будто разбежались куда. Перво на перво я связался с центральным комитетом помощи голодающим. Хотели было они пшеницу у меня отобрать; сами, – говорят, раздадим – а меня, следовательно, турнуть к чертовой матери, так я тоже не лыком шит и послал их, грабителей, куда следовало. Так и сказал: пошли вы...», – товарищ Иосиф медленно и с чувством прочел, куда послал их Степан.

– Правильно! – сказал Макуха и свистнул. – К едреной бабушке!

«Теперь я, следовательно, в Казани живу на вокзале, в вагоне, и жду маршрута, коменданту куль отсыпал, живодеру. Обещался меня дней через пять отправить в ближайший уезд. А там уже половина народонаселения вымерши. Сошко чичас совсем в своем виде – лежит на мешках и вырывает. Севодни я ему категорически заявил, что ежели он еще раз нахрюкается, так я его дома на черную доску запишу. Потому как тут надо скоро

голодающих кормить, а он, следовательно, на ногах не держится. А Сошко загнул меня в небесную канцелярию и выразил такое мнение, что, мол... я на твою черную доску и бросить пить не могу по причине своего расстроенного здоровья. И еще поджечь пшеницу обещался...»

– Говорила я, чтобы не посылали Сошка, – сказала Паша, одергивая вниз блузку. – Лучше б меня...

– Не перебивайте, Паша! Скривился председатель и, поблескивая стеклами, нагнулся к письму. – Потерял, где и читаю. А, вот поджечь пшеницу обещался...

«В Казани мужского полу почти что и не видать, а зато бабья сколько, бабья! Хоть пруд пруди из бабов этих самых. Здешние товарищи говорят, что это потому, что мужской пол убег отседава, от голода спасаясь, а баба, как слабая животная...»

У Паши недовольно поморщился лоб.

– И совсем я не животная. Сам!

«А баба, как слабая животная, застряла. Есть тут на всякий стиль: и брунетки, и рыжие, и неизвестного цвету, а больше – татарки. Наших что-то маловато. Мрут они тут напрополую, а все еще хватает. День и ночь шляются по городу и вокзалу и хлеба, следовательно, просят. Вот бы вас сюда дорогие товарищи! За фунт – какую хошь достанешь, и делай с ей что угодно. В таких обстоятельствах жизни я, можно сказать, в первый раз. Все – одно девка ли, баба – за пшеницу так и прет в вагон. Сошко, когда трезв, и то занимается. Вчера я в ночь четырех перепортил – больше не вмоготу. Одной так годов тринадцать; раздел я ее на пшенице, а она глазки закрыла; тельце у ей худенькое, груди – в половину апельсины, а ножками так и забирает, сволочь. Расщедрился я – два фунта отсыпал да еще сала кусок дал. Севодни подруг своих приведет. Одна – княжна какая-то татарская. А мне, следовательно, все единственно. Девка – все девкой, хош ты царевной будь. Одинаковый инструмент. Очень я рад, товарищи, что сюда попал. На всю жизнь наженюсь...»

Макуха быстро встал с кресла, постучал сапогом о сапог, потом снова сел, мотнув головой.

– Ось кому лафа, так это да! Господы, скильке баб! И дивчат! – поскреб кортиком ручку кресла и добавил, потягиваясь:

– Господы!

Товарищ Иосиф пробежал глазами конец письма, скомкал его и бросил на стол.

– Господи тут совсем не при чем, а что лафа теперь нашему Степану – так это правда. Я бы тоже не прочь, хе... татарки, они горячие, бестии! Взять бы такую девочку и рубашечку с нее – дерг! Да на кровать! А она упирается, плачет, ручками животик закрывает. Эх, черт!

Глаза под круглыми стеклами загорелись так остро, костлявые, в рыжих волосах, пальцы так глубоко впились в гладко выбритые щеки, что Паша, то снимая, то одевая туфлю, долго смотрела на председателя, изогнувшегося над столом так, будто он приготовился к прыжку. Потом, когда товарищ Иосиф, сняв очки, подымал с полу опрокинутую чернильницу, она, по привычке играя голым плечом, сказала тихо, ни к кому не обращаясь:

– А мне жаль их....

– Кого? – удивился Макуха.

– А их, девочек. Ну, если бы им заведение устроили, музыку и чтоб не от голоду они туда пошли – то, конечно. А так... нехорошо. Половина апельсина и дрожит вся, а Степан – как бык тот. Не, не идет это...

Макуха махнул рукой.

– Ничого вы не понимаете. Сказано – слабая животная. Того и дурь всяка в голову иде. Товарищ Иосиф, лафа же Степану яка, а? Як сыр в масле...

– Д-да... – вздохнул председатель и, улыбаясь, сел за пишущую машинку – надо было донести в губернию, что три вагона пшеницы с уполномоченным от уезда в Поволжье прибыли и распределяются между голодающими.

Макуха, перечитывая письмо на ходу, пошел звонить по телефону.

А Паша, сжав ладонями хорошенькое лицо, долго думала, под утомительную дробь машины, о том, что хорошо бы устроить по всей России веселые заведения с добрыми мадами, музыкой и спокойной, сытой жизнью и чтобы туда не пускали Степанов, а старшей над девочками была она, Паша...

Роман рижанина-декабриста Историческая быль о живом мертвце

Первая в истории России попытка заменить самодержавный строй конституционным – декабрьское восстание 1825 года – была беспощадно раздавлена правительством. Ровно сто лет тому назад – в июле 1826 года – пять «зачинщиков богомерзкого бунта» окончили свою жизнь на виселице, сооруженной на острове Голодай, теперь названном Островом Декабристов. Десятки других членов Северного и Южного Союзов до самой смерти Николая II – «во глубине сибирских руд хранили гордое терпенье...».

А в это время в сотнях верстах от Петербурга, в тысячах от Сибири, в пределах нынешней Латвии, жизнь творила одну из своих причудливых сказок, имевшую тесную связь с движением декабристов.

* * *

В первой четверти 19-го века в Риге занимал высокое служебное положение некто Владимир Нертовский. Там же родились и воспитывались его дети – дочь и два сына. В год восстания декабристов молодые Нертовские были уже в офицерских чинах. Старший, Николай, исполнял должность полкового адъютанта и жил в крепости Двинск, младший, Евгений, герой нашего рассказа, служил в Риге, в одном из линейных батальонов.

Евгений Нертовский отличался своим бесшабашным характером, удалью и крайней вспыльчивостью. Истый «рубаха-парень», он не задумываясь, шел на любое предприятие, как бы опасно оно ни было.

Вечером 31 декабря 1825 года неожиданно из Риги в Двинск приехала дочь старика Нертовского Анна и, упав в изнеможении на руки брата Николая, в полной парадной форме собиравшегося с визитом к коменданту полка, сказала:

– Женю арестовали!

Николаю Петровскому вскоре удалось выяснить причину ареста младшего брата. В бумагах одного из руководителей восстания следственная комиссия нашла письмо Евгения Вл. Нертовского, в котором он писал, что охотно примет участие в восстании.

Свою вину подпоручик Нертовский значительно увеличил тем, что при аресте его дежурным при рижском коменданте, майором К., ударил майора по лицу. Когда же К. приказал солдатам схватить Евгения, вышедший из себя подпоручик обнажил саблю и тяжело ранил несколько человек, в том числе и майора К. Его с трудом обезоружили и отправили в одиночную камеру рижской цитадели.

Судьба Нертовского казалась predetermined. Причастность к восстанию грозила Сибирью, вооруженное сопротивление – виселицей на Голодае. На посланный комендантом рапорт следственная комиссия ответила приказом немедленно и во что бы то ни стало доставить подпоручика Нертовского для должного наказания.

* * *

3 января к вечеру подпоручик Нертовский был доставлен из Риги в Двинск, где должен был переночевать и следовать по этапу дальше, а утром 4 января он неожиданно заболел сильнейшей горячкой. Военный доктор Б., исследовав больного, заявил, что отправленный в таком состоянии в Петербург, подпоручик неизбежно умрет в пути.

Комендант крепости запросил следственную комиссию. Из Петербурга ответили: оставить государственного преступника Нертовского в крепости до выздоровления. Через несколько дней из Петербурга прибыл командированный правительством полковник для наблюдения за точным исполнением всех приказаний относительно Нертовского.

В это же время в лазарете Двинской крепости лежал тяжело больной офицер Иван Карлович Браун. Направляясь к своей части на Кавказ, Браун по пути из Риги, переправляясь через реку, провалился сквозь лед, заболел острым воспалением почек, что осложнилось вскоре быстрым развитием сахарной болезни. Браун доживал свои последние дни.

Как-то при посещении лежавшего без сознания брата (разрешение видется с тяжело больным подпоручиком у полковника вымолила Анна Нертовская), Николай Нертовский случайно зашел в комнату умиравшего Брауна. Последний был до того похож на Евгения Нертовского, что в первые минуты адъютант Двинской крепости не мог опомниться.

Придя в себя, адъютант прерывающимся голосом спросил доктора Б.:

– Есть ли надежда на выздоровление Брауна?

– Никакой, – ответил доктор. – Браун умрет через несколько дней.

– Это перст Божий! – прошептал Николай Нертовский, до боли крепко сжимая руку доктора.

В голове адъютанта не мог не возникнуть план спасения брата путем замены его Брауном. Умный доктор сразу же прочел эту мысль на расстроенном лице Николая Владимировича. Связанный с Нертовскими многолетней дружбой, зная Евгения с пеленок, старик решил рискнуть своей головой, но спасти молодого офицера.

Заручившись ценным содействием доброго доктора, Николай Владимирович принялся за детальную разработку плана спасения брата. Совершить столь рискованную операцию обмена Евгения Нертовского на безнадежно больного Брауна без подкупа госпитальных служителей не представлялось возможным. А денег не было. Семья Нертовских не обладала средствами.

В поисках выхода Николай Владимирович обратился за помощью к известному всему гарнизону еврею Вайнтраубу, жившему в предместьях Двинска. Вайнтрауб, по профессии медник и золотых дел мастер, часто ссужал офицеров небольшими суммами займа.

Поздно ночью Нертовский приехал к меднику. Узнав, в чем дело (предварительно Нертовский попросил дать торжественную клятву в молчании, что старик и исполнил, принеся присягу в молитвенном одеянии), Вайнтрауб, выслав из комнаты 13-летнюю дочь Лию – героиню будущего романа, – согласился достать непомерно высокую для него сумму в 4000 рублей в Риге, куда и отправился на следующий день.

План спасения подпоручика удался блестяще. Лазаретный фельдшер и два солдата-служителя согласились помочь в опасном предприятии, получив очень высокую по тем временам сумму. Было решено произвести обмен больных во время купания Евгения Нертовского в ванне.

Уже назначали день и час обмена, когда неожиданно на пути к успешному завершению дела встало новое препятствие.

Денщик подпоручика Нертовского обратил внимание адъютанта и доктора Б. на маленькую золотую серьгу в ухе Брауна. Такие серьги носили в те времена все шкипера, а Браун с детства готовился в моряки, почему его отец, сам моряк, предусмотрительно вдел сыну в ухо серьгу при поступлении мальчика в мореходные классы. В первый же день прибытия Брауна в лазарет комендант крепости обратил особое внимание на это странное украшение и долго расспрашивал Брауна о значении серьги.

Серьга была наглухо запаяна. Никто из лазаретных служителей не брался вынуть ее из уха Брауна и вставить в ухо Нертовского. Несчастный брат молодого декабриста опять обратился к Вайнтраубу, как опытному золотых дел мастеру.

Он долго не соглашался, но в конце концов удалось уприсить Вайнтрауба. Помогла ему в

этом и Лия, которую вся эта таинственная история очень занимала.

Настала намеченная для «операции» суббота. Вечером доктор Б. дал Брауну, вот-вот готовому отойти в иной мир, слабое наркотическое средство, от которого тот впал в бессознательное состояние. Фельдшер провел Вайнтрауба незаметно в комнату Брауна. Опытный старик быстро подпилит штифтик серьги и вынул колечко из уха.

Покончив с этим делом, подкупленные солдаты вынесли Брауна через кладовую в ванну, а оттуда принесли Нертовского. Фельдшер проколол ему золотой иглой ухо, и Вайнтрауб так же быстро продел и закрепил серьгу...

Государственный преступник Нертовский был спасен...

Браун протянул еще неделю. На нетерпеливые запросы начальства относительно состояния здоровья подпоручика Нертовского, доктор стал понемногу подготавливать коменданта и полковника из Петербурга к неблагоприятному исходу. Чтобы не возбудить подозрений, Анна и Николай Нертовские продолжали навещать мнимого брата и задавать ему, в присутствии караульного, вопросы.. Ответов не было, ибо больной уже утратил способность говорить.

Наступила агония. Доктор Б. пригласил к умирающему Брауну, мнимому Нертовскому, все начальство с комендантом во главе, а так же и двух остальных военных врачей.

Командированный правительством полковник, удостоившись в смерти государственного преступника Нертовского, составил соответствующий акт, который тотчас же был послан с курьером в Петербург.

На похоронах «государственного преступника» комендант Двинской крепости выразил Николаю Нертовскому соболезнование, прибавив при этом, что смерть несчастного была лучшим исходом всей этой трагической истории.

* * *

Чудесное избавление Евгения Нертовского от виселицы требовало основательной подготовки его к новой роли. Выздоровливающий подпоручик целыми днями изучал переданную ему старшим братом тетрадку, в которой была записана вся родословня Ивана Брауна и весь его военный стаж. Подпоручик вызубрил содержание тетрадки наизусть и вдобавок постоянно упражнялся в копировании почерка покойного.

Через месяц после смерти Брауна его двойник выписался из лазарета. Из Двинска Нертовский-Браун отправился на Кавказ, где и вступил в «свой» полк по документам Брауна.

Казалось бы, на этом граничащем с чудом спасении Евгении Нертовского вся история должна была кончиться. Но проказница-судьба готовила новое испытание молодому декабристу. Спустя пять лет разыгрался любопытный финал.

Весной 1831 года псевдо-Браун, в первом же деле с горцами получивший Георгиевский крест, скоро ставший благодаря веселому своему нраву и бесшабашной удали общим любимцем всего полка, получил крайне его взволновавшее письмо. Писала Лия, дочь старика Вайнтрауба.

Молодая девушка умоляла Ивана Карловича (будем его так называть) спасти ее отца от нестерпимых вымогательств некоего штабс-капитана Р., офицера того же Двинского гарнизона.

Р. начал сомневаться в тождественности личности умершего с подпоручиком Нертовским. Проверив свою догадку рядом сыщнических приемов, штабс-капитан пришел к твердому убеждению, что «государственный преступник» был, путем обмана начальства, спасен от угрожавшей ему кары. Узнал Р. как-то и то, что в спасении Нертовского деятельное участие принимал медник и золотых дел мастер Вайнтрауб, которому он, кстати, был должен крупную сумму.

Р. отправился к Вайнтраубу и сказал старому еврею в лицо, что ему известна вся проделка в ванне.

Отпирательство не помогло, угрозы Р. сломили старика. С этого дня началось наглое вымогательство денег у Вайнтрауба. За краткий срок Р., угрожая виселицей, выманил у Вайнтрауба все его деньги – до 10 000 рублей.

Вскоре из Риги в Двинск приехала к отцу Лия. Поразительно красивая и прекрасно воспитанная девятнадцатилетняя девушка произвела сильное впечатление на Р. Не встретив взаимности, пришедший в ярость штабс-капитан назначил шестинедельный срок, после которого Лия должна была отдаться ему. В противном случае отец ее погибнет.

Несчастливая девушка вспомнила о молодом офицере, в спасении которого такое активное участие принимал ее отец, и написала ему.

Браун-Нертовский не задумываясь пошел на дело, снова, как и пять лет назад, грозившее ему виселицей. С трудом получив отпуск, он день и ночь мчался с Кавказа к берегам Балтийского моря и очень скоро подъехал на тройке к дому Вайнтрауба.

Его встретила Лия. Подпоручик был поражен редкой красотой девушки.

Иван Карлович решил немедленно же привести свой план в исполнение. Несмотря на просьбы не устраивать скандала, просьбы старика Вайнтрауба, решившего тайком эмигрировать в Нидерланды, откуда в Россию прибыл его дед сто лет тому назад, Браун-Нертовский настоял на необходимости послать штабс-капитану Р. записку Лии с просьбой придти сейчас же к ней.

Сияющий Р. через четверть часа был в доме Вайнтрауба. Вместо ожидаемой красавицы к нему вышел саженного роста кавказский офицер с Георгиевским крестом на груди и пистолетом в руке. Между ними произошел такой разговор:

– Вы штабс-капитан Р.? – холодно спросил кавказец.

– Я. Но не понимаю, что вам угодно от меня.

– Моя фамилия Браун, или, как вы верно подозреваете, я Евгений Нертовский. Теперь вы поймете, что нам вдвоем жить на свете невозможно. Один из нас должен умереть. Я предлагаю вам дуэль на узелки. Сейчас же, в ближайшем лесу. Если вы не согласны, то я разможу вам голову на месте. Предварительно мы оба напишем записки одинакового содержания, адресованные коменданту, и в которых сообщим, что покончили с жизнью самовольно. Даю вам на размышление пять минут.

Под дулом пистолета Р. должен был согласиться на дуэль. Провожая доблестного защитника своей чести в лес, заплаканная Лия протянула ему ветку сирени:

– Посмотрите, сколько тут цветочков с пятью, шестью и даже семью лепестками. По народному поверью это – счастье. Возьмите ветку, она будет талисманом и сохранит вашу драгоценную для меня жизнь...

Талисман помог. Конец платка с узелком вытянул Р. На развалинах старой кузницы штабс-капитан выстрелил себе в висок. Смерть наступила мгновенно.

Возвратившись в дом Вайнтрауба, Брайн узнал, что Лия спешно уехала в Ригу. С грустью простившись со стариком, Иван Карлович приказал подать лошадей и отправился в обратный путь – на Кавказ, все время думая о Лие.

* * *

Судьбе и на этот раз угодно было завершить томление влюбленного подпоручика финалом неожиданным. Образ красавца-офицера пленил сердце Лии. Когда, проскакав весь день, Браун остановился на ночь на постоялом дворе местечка неподалеку от Двинска, к нему в комнату постучался робко хозяин.

– Что там еще?

– Ясновельможного пана желает видеть какой-то молодой господин.

– Пожалуйста!

Послышались легкие шаги, и в комнату вошел стройный юноша в длинном плаще и в широкополой шляпе. Это была... Лия.

Обойдем скромным молчанием понятное волнение и радость влюбленных, первые слова любви, поцелуи первые...

– Я знаю, – сказала успокоившись, молодая девушка, – что предпринятый мною шаг противоречит всем понятиям и о приличиях и стыде. Но я сделала так, ибо принадлежу вам по праву древнейших законов. Вы спасли меня и отца и я стала вашей собственностью. Вы победили врага – вам принадлежит все его имущество, а в особенности то, из-за которого состоялся Божий суд...

Вряд ли взволнованный Браун многое понял из бессвязных слов девушки. Вряд ли связно он ответил ей, но отныне – и это чувствовали оба – судьба их была связана на всю жизнь.

В том же тарантасе Браун и его неожиданная невеста помчались в Москву. По дороге Лия рассказала Ивану Карловичу, как жарко молила она о спасении его Богу – «который мой и твой». На пятый день молодая пара прибыла в Москву, к тетке Брауна.

Увидев Лию, старая тетка, пораженная ее красотой, только и нашлась, что схватить племянника за ухо с злополучной серьгой и сказать:

– Проказник!..

В Москве молодая пара была обвенчана.

Много лет подряд Лия Семеновна разделяла боевую жизнь мужа. В походе же родился у них сын.

Спустя несколько лет дочь медника и жена «живого мертвеца» отправилась в Ригу навестить родных. В это время в Риге жил талантливый художник-портретист В., ученик знаменитого в те годы дрезденского академика Гергарда фон Кюгельмана. В. нарисовал прекрасный портрет Лии. К сожалению, настоящее местонахождение портрета неизвестно. До войны и революции его бережно хранили потомки Браунов-Нертовских.

Свыше 50 лет душа в душу жили Брауны. В 1878 году умерла Лия. Подложный «Иван Карлович» ненадолго пережил жену – спустя восемь месяцев скончался и Евгений Владимирович.

Давно уже уцелевшие в сибирских рудниках декабристы были прощены. Но только в 1901 году племянник Евг.Вл. Нертовского-Брауна, сын его сесты Анны, осмелился рассказать, будучи глубоким стариком, похожую на сказку быль о «живем мертвеце».

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Сливки общества. – «Русские вести». 11 февраля 1923. № 192. С. 2–3. 13 февраля 1923. № 193. С. 2–3.

В деревне. – «Русские вести». 22 февраля 1923. № 199. С. 2–3.

Комячейка. – «Русские вести». 4 марта 1923. № 208. С. 2–3. 6 марта 1923. № 209. С. 2–3.

Сашенька. – «Русские вести». 29 марта 1923. № 228. С. 2–3.

Дом ребенка. – «Русские вести». 3 апреля 1923. № 231. С. 2–3.

ИЗ «КНИГИ БЫЛЕЙ»

В паутине. – «Рижский курьер». 1924. № 978. Печатается по газетной копии (с карандашной пометкой «Рижский курьер»), имеющейся в московском Архиве русского зарубежья (Дом-музей М.Цветаевой) в коллекции «Архив И.Савина».

В теплушке. – «Новые русские вести». 22 марта 1925. № 377. С. 2–3. 25 марта 1925. № 379. С. 2–3.

Чудо. – «Новые русские вести». 14 июля 1925. № 465. С. 2–3.

Четки. – «Наш огонек». 12 декабря 1925. № 51. С. 2. В другой редакции рассказ был опубликован (без подзаголовка «Из книги «Былей») под названием «Трилистник» – «Русские вести». 19 июня 1923. № 288.

ИЗ КНИГИ «ПЛЕН»

Чонгарский мост. – «Русские вести». 3 декабря 1922. № 140. С. 2–3.

Дневник. – «Русские вести». 7 ноября 1922. № 117. С. 2.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Пасхальный жених. Из «Крымского альбома». – «Листок русской колонии». 12 апреля 1927. № 12. С. 2–5.

Портрет. Генералу Врангелю. – «Новые русские вести». 17 августа 1924. № 198. С. 2–4.

Ромашки. – «Русские вести». 23 ноября 1922. № 131. С. 2–3.

Балда. Рассказ «сознательного» пролетария. – «Любавское русское слово». 10 августа 1923. № 176. С. 2–3.

Лафа. – «Мир». 24 августа 1923. № 3. С. 2–4.

Роман рижанина-декабриста. Историческая быль о живом мертвце (Влад.Нертовский). – «Сегодня». 8 августа 1926. № 174. С. 4.

«Любавское русское слово» (Либава/Лиепая) – газета, ред. В.И.Тасьман.

«Листок русской колонии» (Гельсингфорс, 1927) – газета, ред. С.Николаева.

«Мир» (Рига, 1923–1924) – журнал, ред. К.Лейман.

«Наш огонек» (Рига, 1924–1924) – журнал, ред. В.Васильев-Гадалин.

«Новые русские вести» (Гельсингфорс, 1923–1926) – газета, ред. В.Воутилайнен.

«Рижский курьер» (Рига, 1921–1924) – газета, ред. Д.И.Заборовский.

«Русские вести» (Гельсингфорс, 1922–1923) – газета, ред. В.Воутилайнен.

«Сегодня» (Рига, 1919–1940) – газета, ред. М.С.Мильруд.



Библиотека Института России и Восточной Европы

Annankatu 44, 00100 Helsinki

Тел.: (09) 2285 4439, факс: (09) 2285 4431

e-mail: kirjasto@rusin.fi

www.rusin.fi

Библиотека работает пон., четв. 9-18, вт., ср., пятн. 9-16

ISSN 1459-6768